

**#СУМРАЧНЫЙВЕТЕР**

ЧИТАЙТЕ В СЕРИИ:

Мария Некрасова  
СПЯЩАЯ

Евгения Кретова  
АЛЬТЕРАТЫ.  
МИССИЯ ДЛЯ УСОПШИХ

Николь Лесперанс  
ЧЁРНЫЕ ЦВЕТЫ

*Ждите новых историй...*



# Спящая

Мария  
Некрасова



Москва 2023

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Н48

Иллюстрацию на обложке нарисовала  
*Дарья Стерх* (Караверна @karaverna)

**Некрасова, Мария Евгеньевна.**  
Н48 Спящая / Мария Некрасова. — Москва :  
Эксмо, 2023. — 384 с. — (Сумрачный ветер).

ISBN 978-5-04-190039-7

Когда-то в этой деревне жил мальчик, который умел разговаривать с деревьями, цветами, животными. Другим детям, да и взрослым, этот мальчик казался странным. Сверстники дразнили его и не хотели играть с ним, а когда стали старше — принялись бить. Но мальчик не обращал на них внимания, ведь у него были настоящие друзья, его собаки. И ещё та, кого он однажды разбудил в лесу...

Сейчас здесь живёт Ромка. Он тоскует по Лёхе, своему погибшему другу, и готов на всё, чтобы защитить его младшую сестрёнку Катю. И девочка действительно нуждается в защите. Особенно после того, как находит и берёт домой пса. Очень странного пса. Бездомного бладхаунда. Кажется, эта собака ведёт себя не так, как обычный зверь. Кажется, пёс может влиять на людей. А Ромка почему-то может читать его мысли...

Сумеет ли он догадаться, что происходит, пока старые тайны не обернутся новой бедой?

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-190039-7

© Некрасова М., 2023  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2023



# ЧАСТЬ I

(Лет шестьдесят назад)

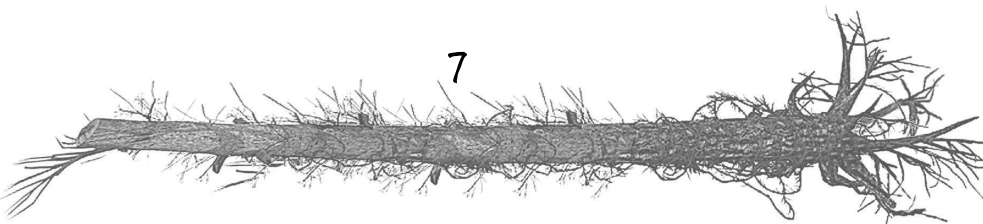




## Глава I ЖАРКО

Если долго смотреть на облака, узнаешь, когда пойдёт дождь. Лёка не мог этого объяснить, как не мог объяснить, откуда человек узнаёт, что голоден или что ему надо в туалет. Белые облака, без единой серинки, всё сами расскажут, если смотреть внимательно. Лёка был очень внимательным. Он лежал в тени дерева, свернувшись в небольшой прохладной ямке, как раз по размеру, чтобы можно было и ноги согнуть, и руки спрятать. Ямку он про себя называл «мой горшок», хотя какой горшок — больше похоже на люльку для младенца. Но это не солидно, а «горшок» хотя бы смешно.

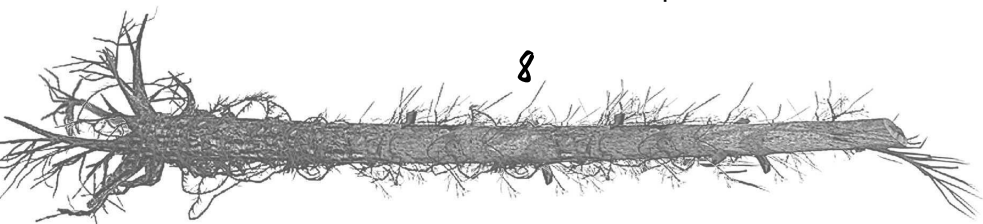
Кусочки неба были видны сквозь крону огромного клёна. Солнце припекало даже здесь, в те-



ни, но не жгло, а грело. Лёка смотрел в небо. Не то чтобы он хотел узнать, когда будет дождь — просто облака завораживали. Они проплывали чинно, растворяясь-растекаясь по небу, будто махали Лёке: «Привет».

Однажды глупая Татьяна Аркадьевна, увидев Лёку в его «горшке», попыталась втянуть его в странную игру «На что похожи облака». Нет, серьёзно: взрослая женщина уселась рядом с ним на корточки и стала неприлично тыкать пальцем в небо. Как будто сама не учила не тыкать пальцем в людей. «Это, — говорит, — похоже на зайчика, а это — на торт». И ничего было не похоже! Облака похожи на облака! Лёка тогда сказал ей, что она со своей причёской похожа на Артемона без ушей. Сказал — и пожалел. Ничего, что он полдня отстоял в углу, — плохо, что перед ребятами его опозорили: «Все посмотрите на Луцева! Он не знает элементарных детских игр и оскорбляет воспитателя...» И все смеялись.

В пятницу ещё мать всыпала за то, что он её позорит перед всей деревней. Ну где позорит-то?! Позор — не знать, что такое облака, позор — сравнивать их с чем-то, что не они. Вот это позор. Почему-то всё равно было стыдно, будто он и правда не знает чего-то важного, что все шестилетние мальчики уже должны знать. ...Хотя, скорее всего, Татьяна Аркадьевна обиделась на «Артемона». Глупо. Наверное — да нет, точно! — она знает, что «Артемоном» её





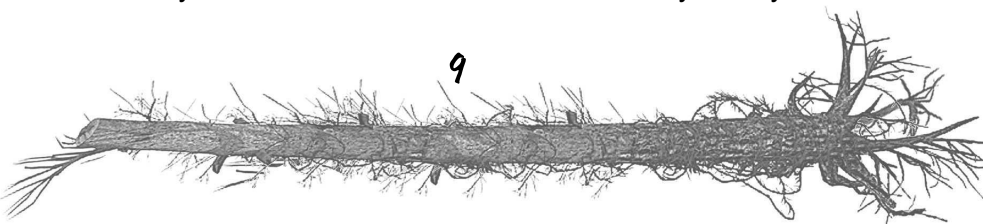
зовут все дети в саду. И зачем делать из этого тайну?

Перед глазами забегали чёрные точки. Лёка называл их «точками зрения», хотя догадывался, что это здесь ни при чём. Но так понятнее: вот она, точка, вот она возникает в поле зрения — значит «точка зрения». С площадки доносились крики «Белые идут!» — это дурацкий Славик с его компанией опять играют в войнушку. Никто не хотел играть за белых, вот их и не было. Армия дурацкого Славика воевала с воображаемым врагом. И они ещё говорят, что Лёка странный!

...Дождь будет послезавтра. Лёка это знал. Облака бежали, солнышко грело, хорошо-то как! Только жарко. Даже в тени жарко. Лёка подумывал о том, чтобы сбегать на кухню. Там сегодня добрая повариха Света. Если попросить попить, она даст прохладного вчерашнего компота из холодильника... Неохота. Пить охота — идти никуда неохота. Вот если бы сами принесли... Он смотрел на листья. Они были какие-то вяловатые, не совсем дряблые, как у «ваньки мокрого» в группе, когда его забывают полить, а так, будто чуть расслабились. И тогда он в первый раз услышал:

— Жарко...

Голос был не человеческий, да и вообще не голос. Такое странное постороннее ощущение в ушах и немного в животе, Лёка даже не испугался. Просто ни с того ни с сего понял, что дерево нужно полить. Оно ж не побежит на кухню пу-



гать Свету просить воды! Он выбрался из своей верной ямы и пошёл в группу.

— Луцев, ты куда? — Артемон сейчас может всё испортить. Скажет: не лезь со своими глупостями или ещё что-то обидное...

Лёка притормозил уже на крыльце, подошёл к воспитателю, стараясь сделать умный вид:

— За лейкой же, Татьяна Аркадьевна. Дереву жарко, надо полить.

Несколько секунд Артемон смотрела на деревья на площадке, как будто прикидывая, поставить их в угол или пускай здесь стоят. Но с Лёкой согласилась:

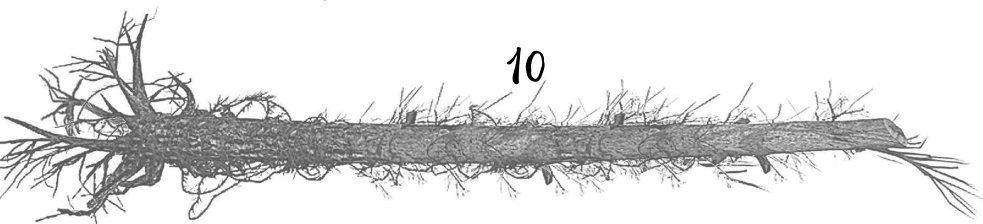
— Хорошо придумал, молодец. Дети! — она произнесла это торжественно, как на концерте. — Лёня Луцев напомнил мне, что у нас сегодня очень жарко. И не только нам, но и деревьям. Давайте сейчас сходим в группу за лейками и польём деревья на площадке.

Девчонки радостно побежали в корпус, обсуждая, кто какую лейку возьмёт. Они разноцветные, эти лейки, девчонкам важно, чтобы красная и ни в коем случае не синяя и не зелёная, что с них возьмёшь! Лека пошёл за своей зелёной.

Он шёл через двор медленно, потому, что подгруппы уже убежали за лейками, а главное — потому, что он слышал. Со всех сторон и даже откуда-то сверху в уши и почему-то в живот стекался этот странный неголос:

— Жарко, жарко.

Жарко было цветам на клумбе, и колючему шиповнику под окнами, и огромным деревьям

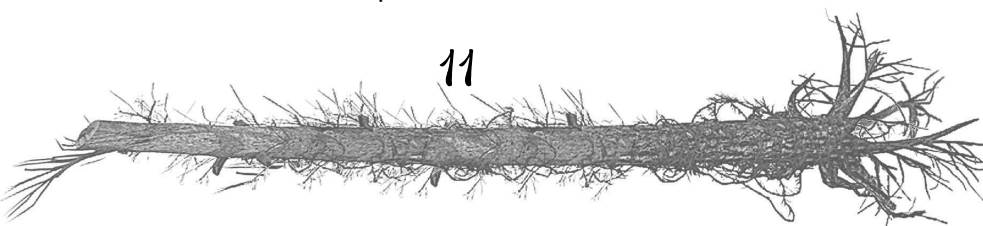


у забора садика. Вот тогда Лёка испугался. Даже хотел сказать Артемону, но быстро передумал: что она понимает, Артемон! А страшно стало. Слышать то, чего не слышал раньше, чего не слышат другие. Мать, конечно, разговаривает с цветами на подоконнике и с помидорами в парнике. Говорит им всякую чушь вроде «Растите скорее» или «Ты чего не цветёшь, на черенки пушу!» — но Лёка знал, что они ей не отвечают. У них другой язык, теперь он это точно знает. Наверное, и они её не слышат и не понимают. С ними надо по-другому.

Когда он вернулся с большущим ведром (лейки ему не хватило — ну и не надо, одной лейки дереву будет мало) и опрокинул его под корни своему дереву, он сразу попробовал что-нибудь сказать. Напряг мысли, напряг уши, зачем-то зажмурился и попытался изобразить на этом нечеловеческом языке короткое слово «На». Не получалось. Наверное, надо много тренироваться. Лёка в мультфильмах видел: если тренироваться, обязательно получится. Он стоял с пустым ведром, зажмурившись, даже сжав кулаки, и пытался, пытался...

— Луцев, ты что, с деревом разговариваешь? — Артемон. Лёка даже вздрогнул: откуда она узнала его новую тайну?! — Иди цветочки полей, про них все забыли.

Не узнала, нет, не могла. Просто ляпнула, чтобы всех посмешить. Не узнала. Не должна узнать. Новой тайной делиться не хотелось ни с кем, даже с матерью.



## Глава II

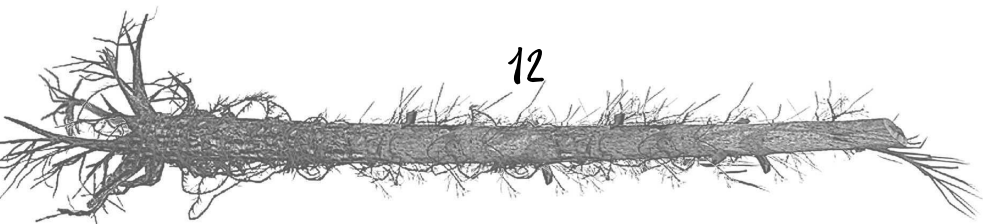
# СВИНЬЯ

Он много тренировался, очень много. В группе, пока все играли, потихоньку подходил к фикусу, усаживался рядом и, бездумно катая машинку туда-сюда, чтобы Артемон ничего не заподозрила, пытался что-нибудь сказать на этом цветочном языке. Удобнее всего было тренироваться во время тихого часа: никто ничего не скажет, если ты лежишь зажмурившись изо всех сил и даже тихонько шевеля губами. В спальне на подоконнике был только один цветок, и он молчал, как тот фикус. Лёка утешал себя, что, наверное, у них всё в порядке, если молчат, а что он сам не может говорить — так надо тренироваться ещё и ещё. А иногда, отчаявшись, он даже думал, что не было того случая с деревом, приснилось, показалось... Но сам себя одёргивал: ерунда! Он всё помнит, он всё слышал и обязательно услышит ещё, надо только продолжать тренировки.

В конце концов заговорить на цветочном ему помогла свинья.

\* \* \*

Это было уже зимой, в пятницу. Мать привела Лёку с пятидневки по ранней зимней темноте. Лёка ненавидел зимние вечера: рано же ещё, почему темно? Несправедливо, как будто ты провинился, и тебя гонят спать раньше времени.



Всю дорогу мать шла впереди, протаптывая в сугробах тропинку для Лёки. Он еле поспевал в своих огромных валенках — и всё равно замёрз и мечтал только поскорее оказаться дома на печке. У них на пятидневке совсем не та печка: огромная и неприступная, как гора, на ней не поваляешься, даже если разрешат. Мать в тот вечер даже не донимала его расспросами о садике, о том, не подрался ли он опять со Славиком: наверное, из-за сильного ветра — он дул в лицо, поднимая снежные брызги, и мешал болтать.

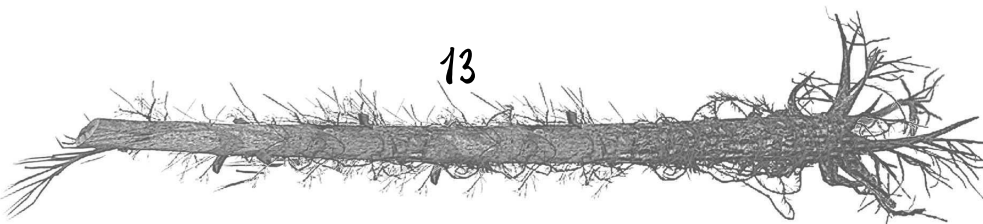
Дом был заперт на висячий замок, значит, мать не заходила, а сразу с работы — за ним. Значит, дома ещё холодно. Обычно мать успевала забежать затопить печку, и, пока ходила за Лёкой в сад, их домик успевал отогреться. В этот раз не успела, значит.

Пока мать возилась с замком, Лёка пританцовывал на крыльце от холода и от нетерпения: ух сейчас он завалится на свою печку! И ничего, что она ещё холодная, Лёка сам затопит, пока мать разбирает сумки, сам чиркнет спичкой, бросит огонёк в скомканную газету в печкиной пасти и будет смотреть, как занимаются сухие дрова.

Наконец мать расправилась с замком. Лёка взбежал за ней на крыльцо («Не хлопай дверь!»), ворвался в прихожую, повесил тулупчик на свой низкий крючок и рванул на кухню, на ходу сбрасывая валенки.

— Ты чего это — по дому соскучился?

— И ещё замёрз!



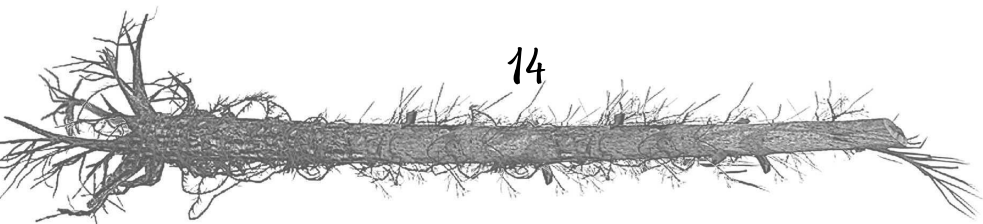
Сухие дрова лежали у самой печки, там же — старые газеты. Лёка уселся на маленькую скамеечку и стал аккуратно укладывать дровишки в топку. Замёрзшие пальцы ещё не слушались, но спичку держали. Огонёк быстро сглотнул газету и перекинулся на дерево, то пригибаясь, то разрастаясь в большое пламя. Как всё-таки мало нужно для счастья!

Мать включила свет, завозилась с сумками, захлопала дверцей холодильника. Сейчас она помоеет картошку холодной водой и даст ему чистить. Лёка усядет на печку, поставит кастрюльку с картошкой на свой старый высокий малышачий стульчик, чтобы было удобнее, и начнёт снимать тонкую золотистую кожуру с жирных картофелин. Мать всегда его хвалит, как он тонко чистит картошку.

— Заслонку не забыл?

Не забыл. Лёка отряхнул руки от мелкого древесного мусора, уселся на печку между кухней и коридором. Отсюда всё видно: и прихожая, и кухня, и как мать моет картошку, потирая друг о друга покрасневшие пальцы. Вода в тазу из прозрачной становится грязной, как в луже, мать сливает её в ведро, придерживая картофелины, чтобы не укатились следом, и заливает свежей из бочки. Сейчас и эта помутнеет, так всегда.

...Рядом на печке валялась книжка про доктора Айболита. Лёка неважно читает, Артемон вечно ругает его за это. А мать ничего, говорит: «Москва не сразу строилась, научится ещё». В книжке есть страшные картинки, на которых



взгляд останавливался сам собой. Бармалей размахивает огромным ножом перед животными. На лице обезьяны — такая гримаса ужаса, что Лёка тоже не по себе.

Тогда-то он и услышал. Как в тот раз под деревом: в уши и почему-то в живот ворвался этот вопль:

— Убивают!

Книжка чуть не выпала из рук.

Мать спокойно мыла в тазике уже посветлевшие картофелины. ...И голос был как в тот раз: не человеческий, не голос. Он доносился откуда-то из-за спины, из-за окна, с улицы.

— Убивают!

— Я скоро, мам. — Лёка быстро спрыгнул с печки, пока мать не успела возразить, и побежал одеваться.

— Куда? А картошка?

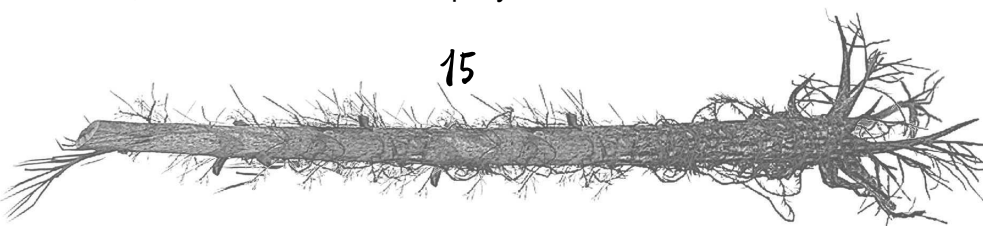
— Я скоро. Ты без меня ничего не делай, я быстро... — он болтал скороговоркой, промахиваясь мимо рукава тулупа. Кажется, нитки хрустнули, когда он наконец-то попал в этот проклятый рукав. Некогда возиться с пуговицами!

— Убивают!

— Бегу! — это вырвалось само собой и сразу как надо. Мать не слышала, она и не должна была, Лёка сам толком не расслышал, но знал, что получилось. — Ты где?

— Грязно! Холодно! Воняет! Убивают!

В голове вспыхивали образы один за другим. На человеческом языке никто бы не понял, а на цветочном легче. Лёка сразу всё понял.

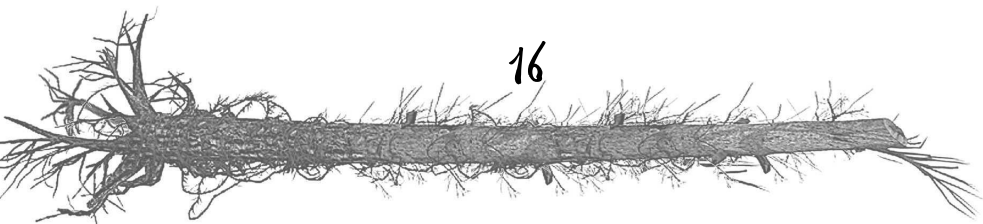


Он прямо видел перед собой этот грязный соседский сарай, видел изнутри земляной унавоженный пол, где тёплые жёлтенькие опилки давно превратились в грязное месиво. «Грязно!» Видел подгнившие редкие доски, сквозь которые гуляет ветер, да так, что нет разницы, внутри ты или снаружи. «Холодно!» Он слышал этот удушливый даже на морозе запах свинарника: не такой, как от козы или коровы, а почти как в человеческом сортире. «Воняет!» И где-то уже на задворках мысленного взора — лязг железа по точильному камню. «Убивают!»

Сосед. Сосед дядя Вася держал свинью и собирался зимой её зарезать. Мать давно ворчала: «Поскорее бы», потому что запах от свинарника стоял такой жуткий, особенно летом — похоже, сосед не очень-то любил его чистить. Значит, сейчас. Значит, вот-вот... Примерно так это должно было звучать, если перевести на человеческий. Мать говорила Лёке, что свиньи, да все животные чувствуют, когда их собираются резать. Мечутся, кричат, пытаются убежать. Кажется, эта тоже визжала на человеческом...

В распахнутом тулупе Лёка выскочил на крыльцо. Вот он, свинарник соседа. В десяти шагах от него, сразу за забором. Сквозь поредевшие штакетины виден почти весь соседский двор: летом его заслоняли яблони, а теперь они стояли без листьев, и Лёка видел всё.

На скамейке перед домом в скупом луче лампы над крыльцом, спиной к Лёке, сидел сосед.



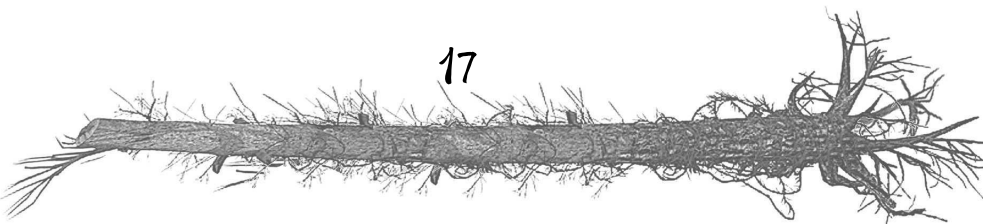


Угрюмый чёрный тупуп с нахлобученной сверху шапкой. На той же скамейке закреплено ручное точило. Круглый камень с ручкой, на мамкину мясорубку похож. Только звук от него жуткий: железом по камню. Сосед точил нож. Рядом, тоже к Лёке спиной, другой чёрный тупуп помахивает верёвкой в руке. Должно быть, тоже кто-то из соседей пришёл помочь. Вокруг темно. Только эти в луче фонаря, как в кино про бандитов. И в этой темноте почти тонуло чёрное пятно свинарника. Совсем рядом, сразу по ту сторону забора. Если перелезть через забор...

Быстро, прячась за яблонями, Лёка побежал. С Лёкиной стороны к забору примыкает дровяной сарай. Дрова привезли недавно, ещё не все распилили, и у самого сарая громоздилась гора брёвен. Если подняться по ней, да на крышу, да через забор... Мать запрещает ему лазить по дровам: «Ноги переломаешь, а нет — так сдвинешь и завалит». Надо. Поленицу уже припорошило снежком, он даже не видел, куда ступить, чтобы...

— Убивают!

— Иду. — Лёка зажмурился и шагнул на поленицу: раз-два-три, главное — быстро, главное — не думать, главное... Колено налетело на крышу сарая, и он открыл глаза. Высоко. С земли их сарай казался маленьким, сутулым, а тогда, стоя на дровах у самой крыши, Лёка забоялся. Далеко впереди прямо за крышей земли не было видно — только снег на деревьях и лес, густой чёрный лес за соседским забором.



— Иду. — повторил он уже себе и шагнул на крышу.

Несколько длинных шагов — и пропасть. Внизу под забором белел снег: высоченный сугроб, и всё равно такой далёкий, у Лёки аж голова закружилась, чуть не упал вверх тормашками на соседский участок. Ерунда: нужно только аккуратно спрыгнуть в темноту и не завопить, а то услышат. Лёка вцепился в забор, перелез, повис — и спрыгнул.

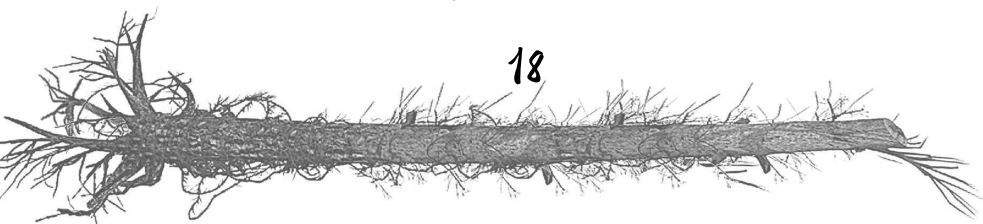
Сперва ему показалось, что сугроб накрыл его с головой, но нет, поменьше, можно выбраться. Барахтаясь и стараясь не скрипеть снегом, Лёка выкатился на расчищенную тропинку. Темно. Почти. Белый снег отражает свет далёкого фонаря за сараем. Лёка видел тени этих двоих: соседа и второго, длинные, нечеловеческие, и этот нож: его тень тоже вытянулась в целую саблю...

— Дверь! — дверь сарая была рядом: руку протяни, отопри деревянную задвижку — и всё...

— Сейчас... — Ой, нет! Куда же она побежит, бедная свинья, кругом забор!.. Её тут же схватит этот с верёвкой, и тогда...

— Подожди... Сейчас... Забор. — Справа от Лёки, совсем недалеко, та часть участка, которая выходит на лес. Забор в том месте совсем плохой, если попытаться выломать штакетину... Лёка прокрался к забору и уже почти на ощупь стал искать слабое место.

Темно. Лёка бежит вдоль забора, ощупывая доску за доской, но именно в этом месте они стоят плотно, как будто издеваются. Пролезет ли



она, если выломать только одну штакетину? Нет, надо две доски выламывать... А как же хоть одну-то... Вот одна, совсем гнилая, Лёка чуть надавил — и раздался оглушительный хруст!

— Что там у тебя? — послышалось до ужаса близко. Второй, не дядя Вася.

По снегу захрустели чьи-то валенки. Лёка на секунду замер...

— Дверь! — Свинья права: поздно прятаться.

Лёка, уже не скрываясь, бежит к сараю, отодвигает деревянную задвижку и падает, сбитый распахнутой дверью. Некогда лежать. Он вскакивает, глядя, как свинья выбегает с визгом — правильно, в сторону забора, в ту сторону, которая выходит на лес. Лёка бежит за ней: надо удирать. А как свинья преодолеет забор? За спиной уже хрустит снег под тяжёлыми мужскими валенками, уже приближаются длинные тени...

— Кто там?!

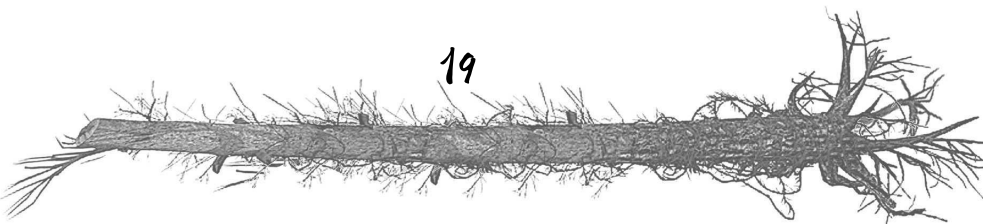
— Бежим! — Свинья легко преодолела забор. Прыгнула как цирковая, только чуть зацепилась копытцами. Забор скрипнул, и целая секция тихо шмякнулась в снег, подняв белое облако.

Лёка удирал уже по доскам. Там, впереди, совсем близко чернел лес.

— Ты что творишь?! — Дядя Вася выругался где-то уже очень далеко за спиной.

Несколько шагов Лёке казалось, что их вот-вот догонят, он бежал, увязая в снегу, и смотрел на тёмное пятно-свинью впереди. Свинья быстрее. Свинья удерёт, обязательно. Только там лес!..

— Погоди! Съедят!



Тёмное пятно остановилось у самого леса, почти невидимое у подножия деревьев. Лёка ещё догонял, увязая в сугробах: здесь-то на ничьей земле снег расчистить некому. Он бежал долго, но откуда-то знал, что свинья ждёт. Ждёт — значит погоня отстала. Он подбежал почти вплотную и только тогда увидел блеснувший пяточок. Свинья стояла спиной, но обернулась, как человек. Лёка не знал, что они так могут.

— погоди! Там лес. Впереди — лес. Тебя съедят!

Свинья подмигнула. Было темно, но Лёке показалось, что она посмотрела на него как на дурачка:

— Нет волков. Кабаны.

— Порвут! Дикие!

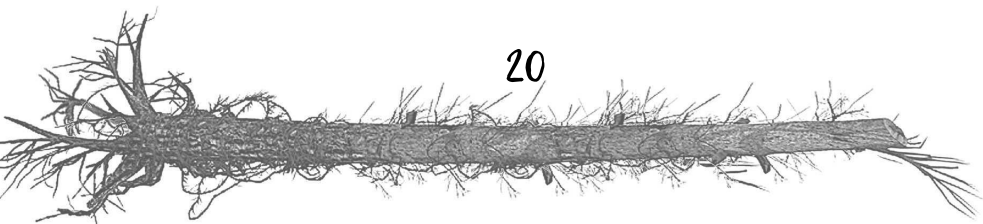
Свинья покачала головой. Смотреть на это было странно, как будто это всё снится, не бывает же так, чтобы свиньи головой качали.

— Страшно в лесу!

— Холодно. Не страшно. Не режут, — объяснила свинья как маленькому и, кивнув Лёке за спину, добавила: — За тобой!

Лёка обернулся. За спиной до ужаса близко плясали два луча карманных фонариков. Почему за ним? Не за ним — за ней...

— Убегай! — он глянул — свиньи уже не было. В луч приблизившихся фонариков попадали смешные следы в снегу: полоски с копытцами, наверное, бесёнок из сказки про Балду оставлял бы такие же. Свинья убежала, не сказав ни «Пока», ни «Спасибо». Может быть, их просто нет



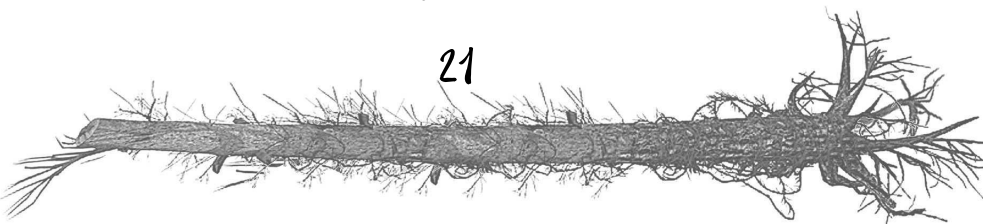
в цветочном языке? Лёка только надеялся, что в лесу со свиньёй ничего не случится и она найдёт там себе еду и, может быть, даже прибьётся к стае кабанов, как хотела. В конце концов, она права: в лесу, конечно, холодно, но хотя бы никого не режут. Улыбка сама собой расплзлась до ушей, в животе что-то зашекотало. ...А злобные огоньки приближались, и с ними приближались голоса:

— Ты понимаешь, сколько народу мяса лишил?! — сосед.

— Ты что творишь?! Твоя мать ещё за дрова не рассчиталась! — другой сосед, не дядя Вася, а этот, напротив. Злющий. Он всегда привозит им дрова и вечно ворчит про долги.

Лёка испугался, что сейчас они заметят следы, побегут за свиньёй и, чем чёрт не шутит, может, и поймают. Не бегом, конечно, а на приманку, например, поставят капкан...

Раз в жизни он видел капканы. Не здесь, не в деревне — в кино. Очень давно, может быть, в том году. Что-то случилось в детском саду, и мать взяла Лёку с собой на работу в город. Полдня он просидел в угрюмом кабинете, набитом бумагами, где раскрашенные тётки говорили «Какой ты большой» и совали ему конфеты. Было отчего-то стыдно и неловко, даже конфет не хотелось. А вечером, когда мучения наконец закончились, мать повела его в кино. Там был скучный фильм про лесника и браконьера, и там были капканы. Гнутые железки с зубчиками, которые впиваются в кожу и мясо. Попавшиеся жи-



вотные в кино кричали совсем по-настоящему, и даже в черно-белом цвете Лёку пугала кровь. Её было много, она заливала белый снег, и от неё слипались шерстинки животных. Вроде чёрная, не красная, а всё равно страшно, потому что ты-то знаешь, какого она цвета, экрану тебя не обмануть... Надо идти навстречу: пусть они не узнают, куда убежала свинья, пусть снег заметёт следы!

Как будто подслушав его желание, поднялся ветер, и вокруг заметалась снежная пурга. Крупинки снега плясали в лучах фонариков, и Лёка торопливо пошёл к людям. Ух сейчас кому-то выплют по первое число! Почему-то он думал об этом совершенно спокойно.

— Явился не запылится! — дядя Вася схватил его за ухо свободной рукой и больно вывернул. В другое время Лёка бы разревелся от обиды, а тогда не мог спрятать улыбку. Свинья спаслась! Это главное. А что они там ворчат...

— Ты чего это вздумал свиней воровать?!

Лёка даже удивился: воровать? Это не про него, это...

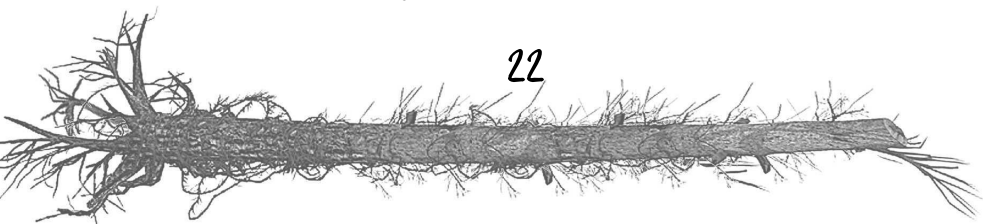
— Я не крал.

— Попререкайся мне ещё!

Но это же чушь собачья!

— Я не крал — я выпустил!

Вьюга кружила, ветер усиливался, белые крупинки били в лицо и забивались в глаза и рот. Дядя Вася тащил его за ухо, Лёка, спотыкаясь на сугробах, еле поспевал. Второй сосед шёл за ними молча, как будто конвоировал. Дядя Вася вта-



шил Лёку на крыльцо и, едва оказавшись в прихожей, завопил:

— Петровна! Иди любуйся!

Мать уже чистила картошку. Сама, не дождалась Лёку. Она так и вышла в прихожую — с ножом и полуголой картофелиной:

— Что? Что ты успел натворить?

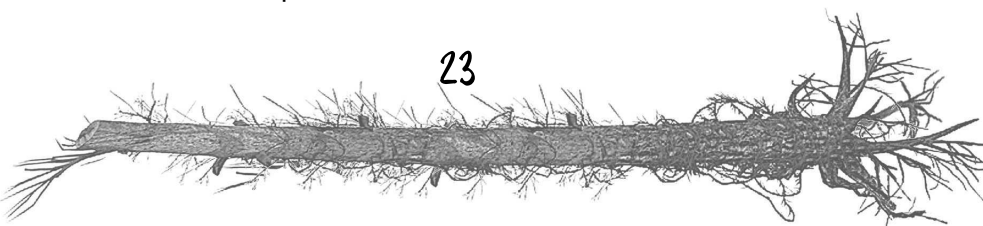
— А то! — дядя Вася наконец-то отпустил ухо, развернул Лёку к себе, присел на корточки. У него была желтоватая щетина, мокрая от снега, и ледяные серые глаза. — Скажи, зачем ты это сделал?! — он рывкнул это Лёке в лицо, дыхнув какой-то гадостью. Хотелось зажмуриться. — Свинку пожалел? А дядю Васю не пожалел? У меня трое детей — что они жрать теперь будут?! — Он повернулся к матери, и Лёка наконец смог сделать вдох. — Выпустил свинью, а она вскладчину с Петровым куплена. Я теперь не только без мяса, а ещё и денег должен!

— Может, ещё можно поймать... — мать рассеянно вертела в руках картофелину, а у Лёки внутри всё сжалось. Он зажмурился и шептал про себя: «Не поймаешь, не поймаешь, не смей...»

— Куда там!

Второй сосед что-то пробубнил себе под нос, мать отшатнулась со своей картофелиной и бросила на Лёку осуждающий взгляд:

— А я-то думала, ты уже большой. — Она прошла на кухню, отложила картофелину, вытерла руки о фартук, взяла с полочки жестянку из-под чая, вернулась с этой жестянкой, на ходу пытаясь открыть.



— Ты мне деньги не суй, ты мне по-человечески объясни... — дядя Вася орал уже на мать, орал что-то взрослое и, наверное, обидное, Лёка хотел заткнуть уши, но постеснялся.

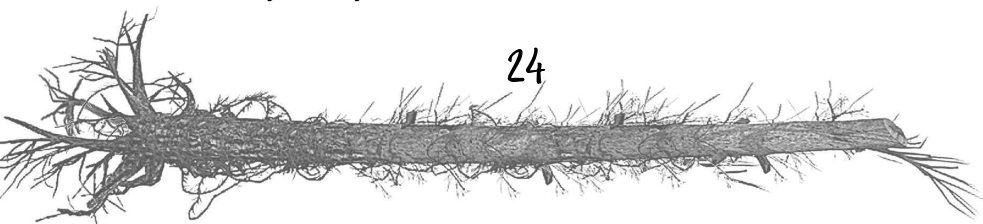
...Он долго орал. Мать оправдывалась, Лёка не слушал. Это всё было не важно. Он думал о свинье.

### Глава III

## ХОЛОДНО!

После Нового года ударили сильные морозы. Артемон не выпускала никого гулять: слишком холодно. Играть разрешалось только в центре комнаты, поближе к печке. Нянечка Серафима Ивановна затапливала её утром, на ночь и ещё в обед перед дневным сном, и всё равно тепло быстро уходило. Цветы на подоконнике тоже жаловались на холод, но Лёке удалось неожиданно легко уговорить нянечку их перенести на шкаф, подальше от холодных окон.

Артемон запрещала подходить к окнам: «Дует, простынете, что я родителям скажу?» А Лёка любил любоваться узорами на стекле или оттаивать пальцем дырочки, чтобы смотреть на улицу. Один раз дурацкий Славик подкараулил его за этим занятием. Лёка смотрел в дырочку на заснеженный огород, а Славик подкрался сзади и со всей силы вжал лбом в стекло. Морозец обжѐг лицо, и Лёка вслепую ткнул локтем...





— Чего дерёшься?! — Славик тут же отпустил его голову и завопил, изображая битого: — Татьяна Аркадьевна, Луцев дерётся!

— Не ври, ты первый начал! — неожиданно пришёл на помощь Юрик, за что получил от Славика злющий взгляд.

Этот дурацкий Славик показал исподтишка кулак, и Лёка так и не понял: ему это или Юрику. Наверное, ему: Юрик всё-таки Славкин друг.

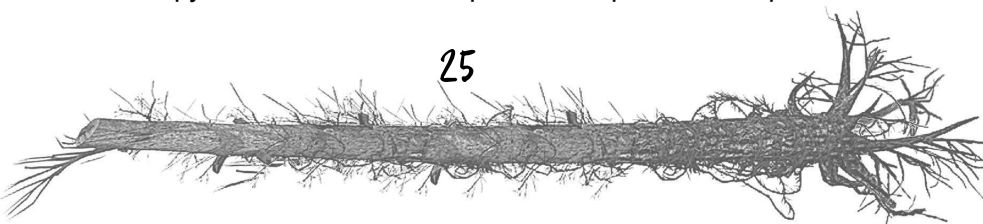
Артемон за своим воспитательским письменным столом рассеянно подняла глаза от бумаг:

— Не задирайся, не получишь... Так, а это что такое?! — она смотрела куда-то мимо Лёки. На морозное стекло, где во всей красе отпечаталась Лёкина физиономия. Выглядела она странно, перекошенно и вообще ни капельки не похоже, даже страшновато. Но Артемон есть Артемон. — Луцев, это твой портрет? — Все засмеялись, а дурацкий Славик громче всех. — Что я говорила насчёт окон? Пневмонию захотел? В больницу?

«В больнице хотя бы не будет Артемона и дурацкого Славика». Но вслух Лёка этого, конечно, не сказал. Остаток вечера он простоял в углу, изучая трещины в краске.

\* \* \*

Ночью было особенно холодно. Лёка сперва долго вертелся, кутаясь в одеяло, и всё не мог согреться. Он смотрел на ледяные узоры-завитушки на стекле, вспоминал свой сегодняшний конфуз и гадал, как быстро его некрасивый пор-



трет опять станет снежным узором. От таких мыслей становилось ещё холоднее. От холода трудно было уснуть, а когда сон всё-таки навалился, в уши и в живот тотчас впилось это слово на цветочном языке:

— Холодно!

— Холодно, — согласился Лёка. Он тогда подумал, что ему снится, и так и лежал с закрытыми глазами, не осознавая, что уже не спит.

— Холодно! — а этот неголос был уже другим. На цветочном языке не поймёшь, кто говорит, потому что неголос не бывает ни высоким, ни низким, ни молодым, ни старым. Но этот был другой, не тот, что в первый раз, Лёка это чувствовал.

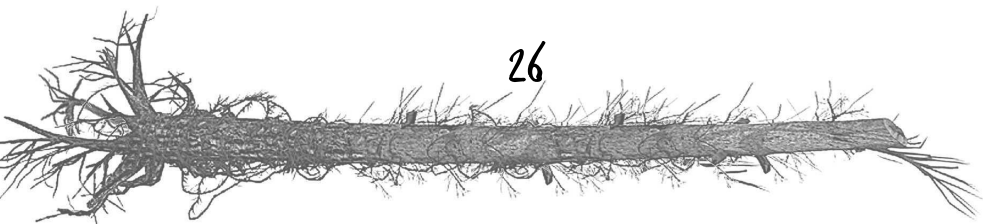
— Холодно! — третий...

— Холодно! — опять первый.

— Холодно! — ещё один.

Лёка открыл глаза. Впереди так же блестело от света фонарика над крыльцом заледеневшее окно. Вокруг белели пододеяльниками кровати. В углу, у самой двери, — тёмное пятно, там, на застеленной кровати, накинув пуховый платок, тихо похрапывала ночная няня.

А неголоса не отставали. Со всех сторон, издалека и близко, в уши и в живот стучалось это «Холодно!». Лёка сел на кровати. Голова гудела так, будто у него ангина. Неголоса наперебой твердили своё «Холодно!» — они сливались в ровный гул, как в телефонной трубке в кабине у заведующей. Лёка схватился за голову, одеяло соскользнуло, и плечи защипал холодок. «Холодно-холодно-холодно...»



— Тихо! Кто вы?! Где вы?!

— Дерево-крыша-лавочка-снег-дерево-дерево-дерево-холодно-холодно-холодно... — неголоса талдычили наперебой каждый своё, кого-то они напоминали, но Лёка совсем не мог думать: голову сверлило это «Холодно». Если он так и будет сидеть, они просверлят голову совсем и замёрзнут насмерть. ...И ещё надо взять на кухне хлеба.

Мысль была совершенно чужой, Лёке бы никогда в голову не пришло воровать хлеб. Воровать! Хлеб! Даже звучало дико. Дурацкий Славик с Витьком и Юркой хвастались, что однажды ночью пробрались потихоньку на кухню, стащили по куску хлеба и слопали под одеялами. А утром никто ничего не заметил, потому что повариха не пересчитывает нарезанный хлеб, а крошки из постелей они стряхнули. Лёка был уверен: они врут. Хвастаются. Потому что ночная няня бы заметила, повариха бы заметила, весь мир бы заметил, а Артемон... Лёка не мог вообразить, что бы сделала с ними Артемон.

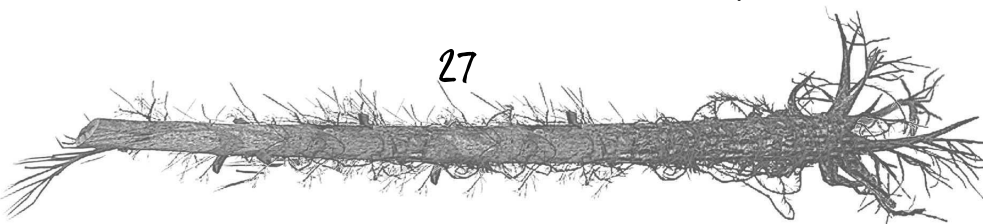
— Надо хлеб. Надо-надо-надо... — неголоса звенели в голове, перебивая друг друга.

Лёка схватил со стула колготки, стал натягивать. Послышался треск рвущейся ткани, и на секунду наступила тишина. Неголоса смолкли, но было что-то ещё... Храп! Оборвался нянечкин храп. Лёка упал на кровать и замер.

— Холодно-холодно-холодно! Хлеб-хлеб-хлеб! Да как же можно воровать хлеб?! Это же...

— Иду... — храп вернулся.

Можно одеваться. Кое-как, задом наперёд,



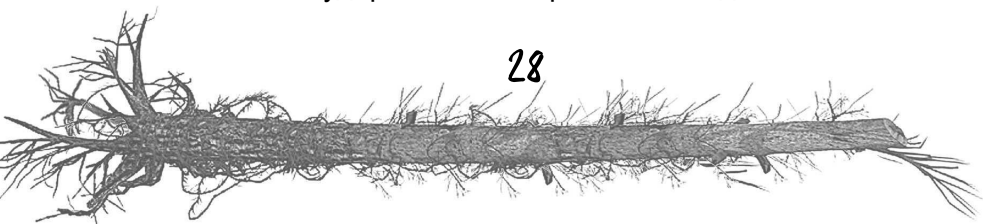
главное — быстро! Где-то в темноте ещё были тапочки... Лёка быстро нашаривает обувь и бежит на цыпочках к выходу. Надо выбраться из спальни, никого не разбудив (Надо-надо-надо!). Если проснётся Славик, да кто угодно, он поднимет шум, и тогда... («Холодно! Хлеб!») они замёрзнут! Надо бежать.

Потихоньку, не глядя на ночную няню (если не смотреть, она и не проснётся), Лёка подбегает к двери спальни, открывает... Не скрипнула. (Холодно!) Выбегает в игровую: темнота. С этой стороны окна выходят на огород, где нет фонарей, и за окнами и в комнате мрак. Не наступить бы на какую игрушку, не на шуметь бы! За игровой — длинный коридор, там кухня, кабинет заведующей, младшие группы, раздевалка и выход. Кухня! Господи, как же это: воровать хлеб?! (Надо-надо-надо!) Интересно: заведующая уходит на ночь домой или так и торчит за столом пучком фиолетовых волос? А повариха? А кто ещё сейчас есть в саду, кроме него, темноты и сводящих с ума неголосов?

— Хлеб-хлеб-хлеб!

В коридоре темень. Лёка бежит на цыпочках, на ощупь, скользя ладонью по стене, подгоняемый какофонией неголосов: «Холодно-холодно-холодно!» — дверь. «Холодно-холодно!» — дверь... Неголоса врезались в голову, не давали думать, ни о чём не давали думать, кроме этого «Холодно-холодно-холодно!» Дверь кухни...

В нос ударяет запах тряпки и сладкого чая.



Лёка входит и замуривается от света фонаря под окном. На кухне большее окно заливают светом блестящий металлический стол, плиту и железные подносы, огромные. На бортах — загадочные буквы, небрежно намалёванные красной краской. Пустые сложены в углу один на другой, один непустой — на столе, накрыт белой тряпкой.

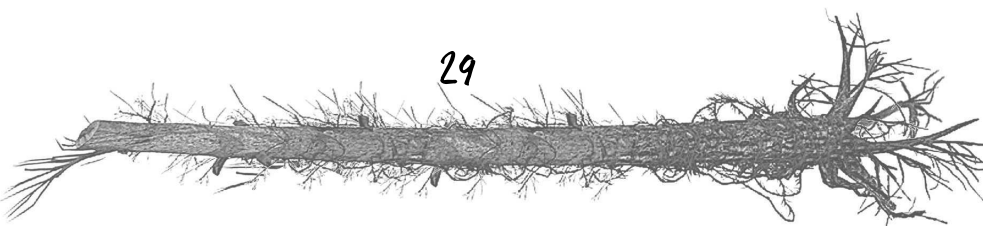
— Хлеб-хлеб-хлеб!

— Я не вор!.. — рука сама лезет под белую тряпку, нащупывает целое богатство: ряды, плотные ряды нарезанного хлеба. Лёка берёт один (мало!), сколько помещается в руку, пытается затолкать в карман шорт — маленький карман, не помещается. Лёка пихает сильнее, на кармане трещит шов, хлеб входит...

— Хлеб! Хлеб-хлеб!

«Мало. Очень мало!» — чужая мысль, невысказанный поступок, Лёка, кажется, плачет, понимая, что утром Артемон его, наверное, убьёт. Мало. Он срывает белую тряпку, хватая штабеля хлебных кусков и заталкивает за пазуху. Хлеб проваливается до резинки шорт («Заправься, Луцев!»), заправился, заправился. Много места, можно ещё... Он хватает хлеб двумя руками, запихивая под рубашку. В свете уличного фонаря за окном видно, как рубашка раздувается от хлебных кусков, Лёка похож на раскрашенного снеговика. Остатки хлеба он вываливает в белую тряпку, которой был прикрыт поднос, завязывает узелок.

— Хлеб-хлеб-хлеб!



Теперь он точно плачет. Опустошённый поднос, много крошек, Лёка вор в раздутой от хлеба рубашке с узелком наворованного.

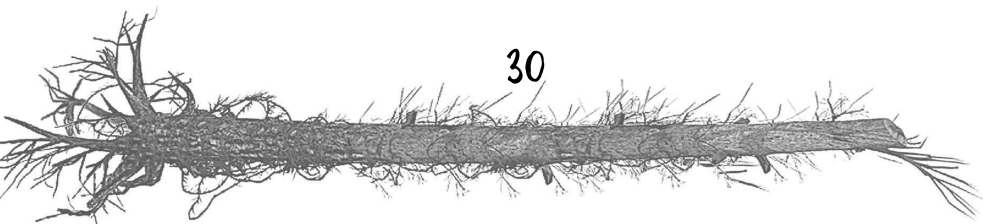
— Почему так?!

— Надо-надо-надо! Холодно-холодно-холодно!

Лёка вспомнил, как в начале зимы Артемон велела принести пакеты из-под молока, и они всей группой вырезали кормушки для птиц, а потом вешали во дворе. Артемон бродила между деревьями и рассказывала, что зимой птицам надо хорошо питаться, чтобы не замёрзнуть насмерть. Лёка не понял, как они согреваются от еды, — но разве Артемон объяснит? Артемон его убьёт. ...И гулять они уже неделю не ходят. Никто не кладёт в те кормушки вчерашний хлеб и семечки.

Он перекидывает через плечо ворованный узелок, выбегает в тёмный коридор, ещё и слёзы всю видимость размыли. Он бежит дальше, так же щупая стену, чтобы не пропустить нужную дверь раздевалки. Она следующая, она вот...

Лёка толкает дверь — и едва не проваливается в темноту: открыто. Маленькое окошечко под самым потолком пропускает свет фонаря, освещая ряды деревянных шкафчиков и разбросанных валенок. (Холодно-холодно-холодно!) ...Надо одеться. Лёка легко находит свой шкафчик, натягивает тулуп (не застёгивается из-за раздутой рубашки! Только одна пуговица вот...), попадает ногами в чьи-то валенки (некогда читать метки!), варежки, шапка («Холодно-холодно!»). Можно идти дальше. В конце коридора — выход.



Тяжеленная дверь, Лёка нащупывает её сквозь варезку, толкает... («Холодно-холодно-холодно!») Ещё немного — и у него разорвётся голова. От неголосов, от слёз, от того, что он вор и Артемон его убьёт... Дверь заперта. Лёка снимает варезку и ощупывает ледяной железный засов. Его бы сдвинуть — и всё! Он наваливается всем весом на засов, но тот как будто примёрз. В ладони впиивается железный мороз, пальцы уже не слушаются, и снова хочется плакать — уже от бессилия. («Холодно-холодно-холодно!») Кажется, пальцы уже примёрзли к проклятому замку. Лёка толкает изо всех сил, и оглушительный железный грохот разносится по спящему саду. Лёка спотыкается у полуоткрытой двери, в щель тут же врывается ветер и хватает за лицо.

— Вы где?! — Лёка бредёт в темноту, туда, где не достаёт фонарик над крыльцом. — Вы где, ау?

— Здесь-здесь-мы-здесь...

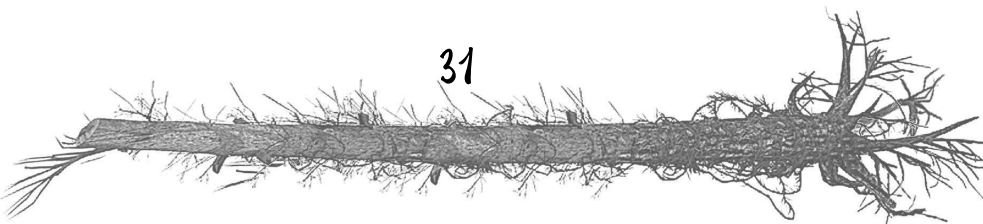
Лёка оглядывается — и никого не видит, кроме угрюмых голых деревьев. В сугробе у самой ноги что-то чернеет. Он нагибается, берёт в руку что-то лёгкое, серое. Маленькие когти цепляются за варезку.

— Замёрз... — Воробей. Ещё живой!

Лёка дышит на птичку в руке, другой рукой достаёт из-под рубашки куски хлеба, чтобы освободить место для воробья, бросает на снег. Кладёт воробья за пазуху, поверх кусков хлеба.

— Сейчас-сейчас... Сейчас ты согреешься...

На брошенный хлеб налетает серая туча. Бесформенная, огромная...



— Холодно-холодно! Холодно! — снег будто накрывает чёрным шевелящимся платком.

— Я сейчас... — Лёка разворачивает хлебный узелок и едва успеваает отскочить — на него налетает новая туча маленьких шумных птичек. Он лезет за хлебом под рубашкой, рвёт пуговицу, она падает в снег, и тут же на неё налетают воробьи. Лека выхватывает куски хлеба, они крошатся в руках, бросает, бросает на снег. Сколько же он его набрал...

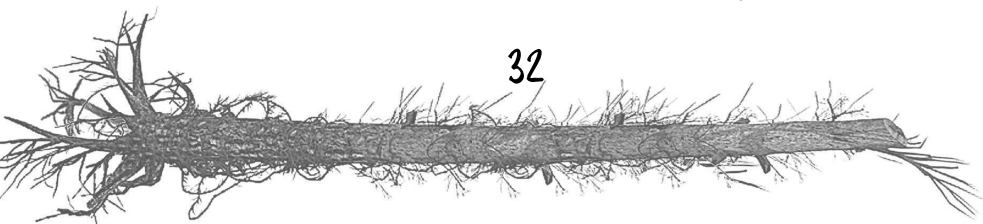
— Холодно-холодно-холодно! — По голове, по лицу, по плечам и рукам бьёт что-то лёгкое и царапают маленькие коготки. Вокруг становится ещё темнее: уже не только снег, а и Лёку будто накрыли огромным колючим одеялом.

— Подождите вы! Сейчас! — Пальцы заledenели. Лёка быстрее, быстрее, бросает хлеб перед собой в эту темноту шевелящихся воробьёв...

Что-то царапнуло у самого глаза, Лёка зажмурился и упал на колени, потому что в спину толкнули. Или показалось? За шиворот будто сунули снежок. Лёка охнул, и тут же несколько быстрых снежков влетело за воротник, в рукава, под полы тулупа, под рубашку, где ещё оставался хлеб... Холодно!

— Холодно-холодно-холодно! — кто-то трогал лицо, волосы, забираясь ледяной рукой под шапку, кто-то дёргал-распахивал тулуп и проникал под него ледяной ладонью. И коготки! Маленькие коготки царапали везде, Лёка боялся открыть глаза.

— Да подождите же! Хлеба много!.. — Негнущимися пальцами Лёка шарил под рубашкой,





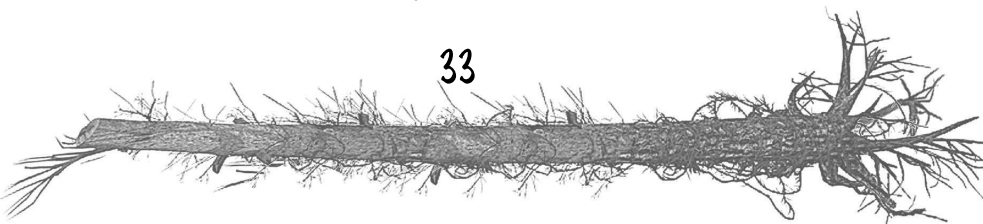
доставая и бросая новые куски. Рука то и дело натыкалась на холодные перья и коготки под его собственной рубашкой, там был уже не один, а наверное, десяток воробьёв...

— Холодно-холодно-холодно! Хлеб-хлеб-хлеб!

Ноздрю царапнули внутри, рывком, как будто подсекают рыбу. Лёка почувствовал, как полилось тёплое. И тогда он завопил. Самому заложило уши от собственного крика, через секунду кто-то царапнул рот, Лёка его захлопнул, но продолжал мычать от ужаса.

«Воробьи! — твердил он себе, сам не понял, на каком языке. — Это всего лишь маленькие воробьи, они замёрзли, они голодные, им нужно согреться, вот они и лезут за пазуху и под шапку, под рубаху, где ещё остался хлеб...»

Шапка слетела, и холод вцепился в уши — или это тоже были коготки, Лёка уже не мог понять, что и где. Так и стоял на коленях, зажмурившись, чувствуя, как на нём шевелится рубашка, тулуп и, кажется, даже толстые штаны. «В шортах. Ещё есть немного хлеба в шортах, вот они и лезут под ватные штаны, чтобы добраться...» Лека пытался нащупать карман шортов, кажется, хлеб раскрошился и вывалился из рваного кармана. Он выгребал что было, в руку впивалась резинка ватных штанов, перья лупили по лицу и холодили под рубашкой. Коготки царапали всего, вспыхивая тут и там мелкой болью, глыбой навалился мороз, Лёке казалось, что он уже весь в сугробе, с головой покрытый снегом, и эти коготки — это от холода. В голове гудело это бесконечное «Хо-



лодно!». Лёка замер в своей нелепой позе, боясь шевельнуться и открыть глаза.

— Холодно-холодно-холодно!

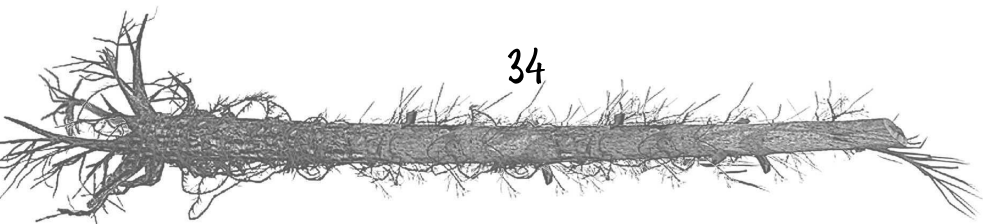
...Ещё у холода были странные вспышки. Вроде ровный холодок, потом раз — в одном месте будто форточку открыли, и тут же опять чуть теплее. Перья скользили по тулупу и голой коже, воробьи не умолкали и, кажется, одновременно чирикали на своём обычном.

Острый клювик вонзился в голый живот, Лёка взвыл, не разжимая губ, приоткрыл глаз и в щёлочку увидел снег. Кусочек снега. Всё впереди было по-прежнему покрыто шевелящимся чёрным платком, он сам был под этим платком, только чуть поодаль — маленький кусочек белого снега. Кое-где на нём чернели неподвижные тёмные пятна, некоторые с распростёртыми крыльями, уже три или пять, он не успел разглядеть. Одно вылетело у него из рукава, сильно, будто вытолкнули, шмякнулось в снег, да так и осталось лежать... Они что, дерутся? «Воробьи любят подраться, Луцев», — откуда-то в голове всплыл голос Артемона. Лёка знал это и без неё, но в тот момент, стоя на коленях в сугробе, облепленный стаей воробьёв, не мог осознать. Воробьи. Дрались насмерть за хлеб у него под рубашкой, за тёплое место под Лёкиным тулупом. Дрались и не умолкали:

— Холодно-холодно-холодно!

— Тише! Только не деритесь!

Клювик стукнул по виску, кажется, назревала новая драка, Лёка рывком поднялся с колен —



и тут же ухнул обратно, как будто сзади кто-то дёрнул за воротник.

— Вы же поубиваете друг друга! Места всё равно всем не хватит, да я сам уже с вами замёрз!

— Не хватит! Не хватит! Не хватит! — подхватили воробьи, и маленькие коготки с новой силой зацарапали где-то под мышкой.

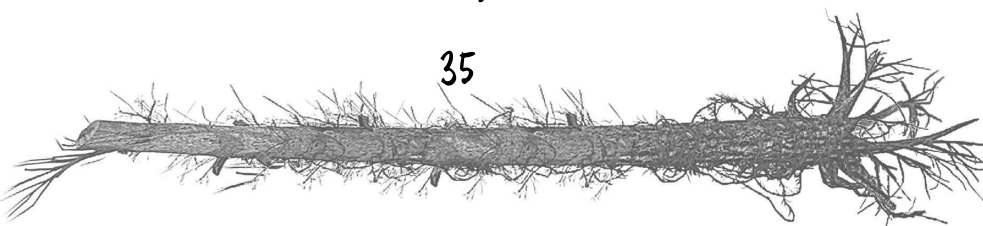
Лёка ещё раз попробовал встать — и тут же получил клювом в бровь.

Он взвыл, на этот раз открыв рот, и маленькие коготки тут же зацарапались во рту:

— Тепло-тепло-тепло!

Лёка попытался выплюнуть воробья, но тот вцепился когтями. Боль была такая, что голова закружилась и воздуха перестало хватать. «Он меня задушит!» В зажмуренных глазах забегали цветные пятна. Правой ногой стало неожиданно тепло, даже горячо с непривычки, и на душе стало легче, Лёка даже не сразу понял, что случилось.

Воздух! Не хватает воздуха! Стащив варёжку, Лёка полез рукой в рот, нащупал мягкое и потащил, пытаясь мизинцем отцепить когти. Воробей не хотел уходить из тёплого места и держался намертво. Тогда Лёка дёрнул — и завопил от боли. Рот наполнился чем-то кислым с железным привкусом, Лёка уже без всякой жалости отшвырнул воробья и вдохнул полной грудью ледяной воздух. Мороз набросился на ногу в насквозь мокрой штанине. Лёка взвыл и закрыл лицо руками. Он не писал в штаны уже много лет.



Хотелось плакать, и он заплакал. От боли, от унижения, от холода, от того, что ему никогда не спасти всех. Он же хотел как лучше, а они... Да они и его, пожалуй, склюют по кусочку, чтобы добраться до остатков хлеба. Склюют! Легко, их же много! Нетушки!

Лёка рывком вскочил на ноги, выдернул из-под резинки штанов полы рубашки, чтобы вывалился оставшийся хлеб. Воробьи заголосили ещё оглушительнее:

— Куда-куда-куда?

— От вас!

Лёка побежал, не открывая глаз, втапывая хлеб в снег. Он боялся открыть глаза. Казалось, воробьи только этого и ждут, чтобы клюнуть. Они по-прежнему сидели на нём, копошились под тулупом и под рубашкой, Лёка уже почти перестал чувствовать боль от коготков. По макушке тюкнул клювик, кажется, кто-то спикировал на него сверху. Шапку потерял. Сунул руки под тулуп, зашарил на ходу, выбрасывая воробьёв:

— Отвяжитесь!

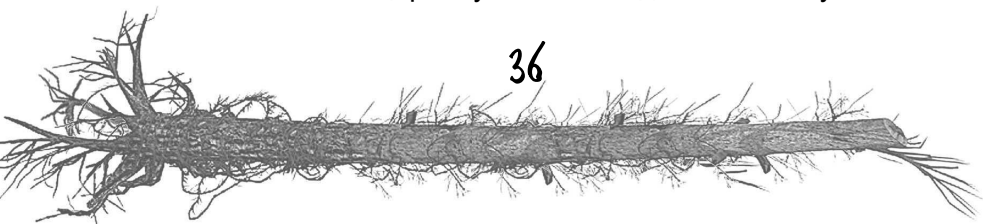
— Холодно-холодно-холодно!

Несколько шагов по сугробам, он споткнулся, упал. Голове стало легче, но лишь на секунду. Только он поднялся на ноги, как опять почувствовал эти коготки: на голове, на руках, на лице!

— Отстаньте!

— Холодно-холодно-холодно!

Лёка смахнул воробьёв с головы и с лица. Коготки больно царапнули лоб. Надо бежать! Чуть



приоткрыл глаза: вот он, корпус детского сада, ещё несколько шагов...

— Холодно-холодно-холодно!

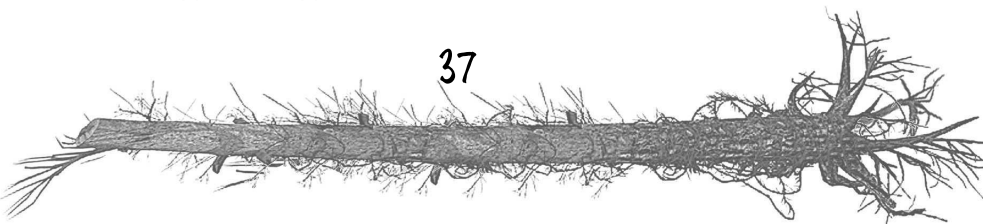
По лицу мазнули перья, Лёка в ужасе закрыл лицо ладонями и побежал. Сугробы мешали, он увязал по колено, а воробьи не отставали: под рубашкой, под тулупом, на голове — они были везде...

Лёка споткнулся о крыльцо корпуса, клюнул ладонями снег и приоткрыл глаза. Он лежал на ступеньках, ещё один шаг...

Дверь дёрнулась и распахнулась, ослепив лучом электрического света. На пороге стоял круглый силуэт, кажется, ночной нянечки. Точно её, потому что из-под прижатых к груди рук выглядывали концы знакомого платка.

— Лёня, что за фокусы?!

Лёка почувствовал, что у него кончается воздух. Это глупо: вон его сколько, а он кончался. Где-то в груди поселился упрямый ком, он толкался и не давал вдохнуть. Воробьи ещё были рядом и, должно быть, так увлеклись, что не заметили ни нянечки, ни света. Лёка не мог ответить. Не отнимая рук от лица, он пытался сделать вдох, твердя себе: «Только не открывать лицо, только не открывать!» Он боялся получить клювом в глаз — и ещё почему-то боялся, что нянечка его узнает, хотя она уже... А воздух всё не шёл, а воробьи всё возились, всё дрались, всё царапались и всё долдонили своё «Холодно-холодно-холодно!».



## Глава IV

# ПЛОХО...

Больницу Лёка плохо помнит. Так, урывками.

Помнит, что валялся долго, как ни разу в жизни, помнит бесконечный поток врачей и как запретили смотреть в зеркало, чтобы он не пугался. Что он, девчонка?! В палате мальчишек и так не было зеркала, но если сказали «Не смотри!» — кто ж не посмотрит!

Лёка пошёл в палату к девчонкам, они подняли визг, а зеркала не дали, потому что у них тоже не было. Только Галка, понимающий человек, отвела его в сторонку и показала секретный туалет медсестёр, куда бегают девчонки, чтобы посмотретья в зеркало.

— Только надо так, чтобы тебя не заметили, — учила Галка, будто Лёка маленький.

В зеркале был незнакомый мальчик. Лёка видел такое лицо только у деда Славки. Он говорил, что маленький болел ветрянкой, от неё остаются шрамы-точечки, которые делают лицо похожим на огромный апельсин. Но у Лёки, пожалуй, было получше. Несколько красных точек на лбу, несколько на висках и самые страшные — над глазами. Эти воробы ничего не соображают! С досады Лёка чуть не врезал по зеркалу, но его руку осторожно перехватили. Медсестра.

— Шрамы мужчин украшают. А у тебя и следа не останется. Это сейчас они жутко красные. По-

том побледнеют и стянутся в маленькие блестящие точки. Ты вырастешь и всё забудешь.

Зачем она врала?! Лёке так хотелось, чтобы то, что она сказала, было правдой, но она врала. Это нельзя забыть. Цветочный язык нельзя забыть! Нельзя забыть воробьёв и те неголоса, тысячи неголосов, которые он слышит в больнице.

Он надеялся, что они ему снятся. Как в тот раз, с воробьями. Он слышал цветы на подоконниках, котов на задворках больничной кухни и крыс в подвале, от которых эти коты его стерегли. Но крысы, наверное, правда снились. Лёка отчаянно хотел в это верить.

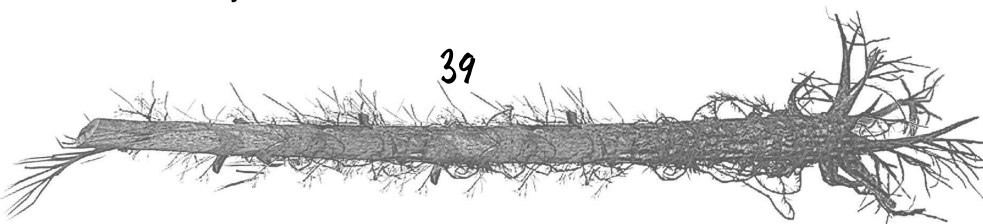
Крысы сидели где-то в темноте, умывались, как кролики, и наперебой болтали:

— Знаешь, что мы едим здесь, в больничном подвале? Угадай, маленький больной мальчик. Если тебе не повезёт — мы будем сыты. — И они подмигивали чёрными глазками.

Лёка вопил во сне и не просыпался, потому что не мог. Он старался, сжимал кулаки, пытаясь открыть глаза, силясь проснуться, — и не мог. Тогда он выискивал вокруг что-нибудь, чтобы бросить в крыс, и чаще всего это оказывалась маленькая сгоревшая спичка или шарик скомканной бумаги. Хватал в отчаянии:

— Убирайтесь! — и бросал, потому что надо было что-то бросить.

Но крысы только улыбались, растягивая невидимые губы:



— Мы здесь, маленький больной мальчик, рядом с моргом. Знаешь, что такое морг? Можешь и узнать...

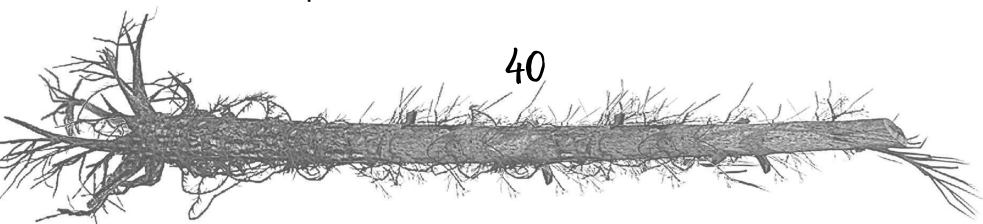
Давно, до слёз давно, ещё в нормальной, нецветочной жизни, когда умерла бабушка, мать потихоньку ворчала на ухо соседке: «В больничном морге огромные крысы. А ну как объедят — как хоронить-то будем?»

Говорят, в снах люди могут вспомнить то, что было очень давно. Лёка в том сне зажимал уши, зная, что не поможет, и пытался распахнуть глаза. Сон не отпускал — так бывает, когда температура. Лёка откуда-то это знал, кто-то ему говорил, там, наяву, не на цветочном, на обычном языке... Медсестра. В тот раз у зеркала она обманула его.

\* \* \*

Лёка видел этого незнакомого страшненького мальчика в зеркале и понимал, что дело не только в шрамах, шрамы и впрямь пустяковые. Перемена была в другом. Он не мог понять, что изменилось в его лице, но видел не себя. Это «Следа не останется» было враньём, таким глупым, таким наглым: вот он, след, он уже на лице, как печать.

Может быть, Лёка просто повзрослел в ту ночь? Мать говорит, что от горя стареют — и да, теперь Лёка имел мужество признать: его тайна была самым настоящим горем. Бедой, огромной, неподъёмной бедой, которую точно не забудешь, когда вырастешь. Мать, когда что-то идёт не так,





вздыхает: «За что мне такое проклятье?!» — вот это самое Лёка и чувствовал. Проклятье.

Незнакомый страшенький мальчик в зеркале поплыл пятнами. К горлу подступили слёзы, Лёка вывернулся из рук медсестры и побежал к себе, оглушительно топая по коридору. Он ревел в голос, как младенцы, а не как взрослые. Понимающий человек Галка, которая должна была стоять на шухере, пока он, Лёка, смотрит на незнакомого страшного мальчика, деликатно отвернулась к окну.

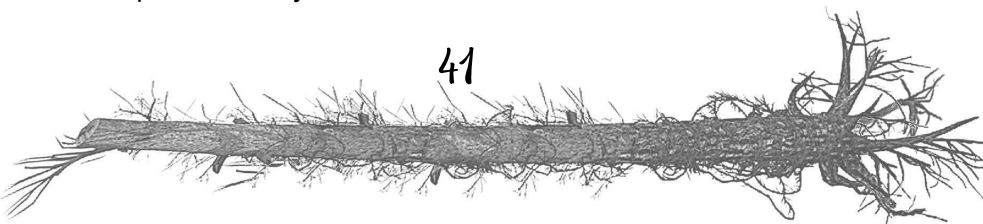
\* \* \*

...Помнит, как однажды в окно ударил снежок. Кто-то из соседей по палате (Лёка их не считал, их столько сменилось, пока он был в больнице) подбежал босиком к окну и крикнул:

— Луцев, к тебе!

Кое-как встал, добрёл до окна, прислонился носом к холодному стеклу.

Внизу, очень далеко на земле, стояла мать и махала ему. Лёка помахал, чтобы отвязаться, и подумал, что так и не поговорить, потому что окна заклеены и открывать, наверное, нельзя... Ну и хорошо. Ему не хотелось говорить, ему хотелось спать, но тоже было нельзя — из-за крыс. И ещё хотелось апельсинов. В больной голове само сложилось это слово на цветочном языке: «Апельсин». У матери внизу округлились глаза, она отшатнулась в сторону и странно глянула на Лёку. Конечно, не ответила, но точно услышала, потому что уже через несколько дней медсестра принесла ему апельсины.



\* \* \*

Помнит, как ещё в первые дни, незадолго до прихода матери, открыл глаза в этой больнице и долго не мог понять, где он. Потолок с ржавым пятном, розоватые стены — и со всех сторон какофония неголосов. Он как будто снял шапку, зажимавшую уши.

Неголосили со всех сторон, он даже неслов не мог разобрать поначалу, замер с открытым ртом, пытаюсь различить, кто и где. «Больно». Снег близко к глазам — значит кто-то маленький. На снегу капельки крови. «Ухо! Крыса! Больно!» Гремит жесть, выходит во двор кто-то толстый в халате, вываливает из кастрюли на землю что-то вкусное, и коты, лениво поднимаясь с насиженных мест, стекаются со всех сторон... Кот. Коту крыса порвала ухо.

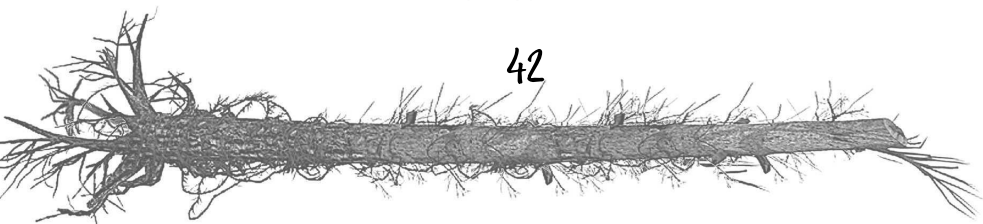
«Утро! Утро! Утро!» Сено, деревянные стены, похожая толстуха в халате с такой же кастрюлей, только вываливает кашу в алюминиевую мятую миску. Цепь звенит. Собака радуется утру.

«Всё! Всё! Всё...» Влажность, душный запах — и огромные белые зубы перед самыми глазами. Птичка в пасти у кошки.

«Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим!» Свет. Много света. Тараканы на кухне.

«Воды. Воды». Цветок на окне.

Лёка различает только несколько неголосов, остальные сливаются в ровный гул, давят на голову и живот, а ему и так больно. «Больно! Больно!» — кажется, ещё один кот. Птичка затихла,



и опять это «Больно!», только уже кто-то другой. Лёка никогда не поможет им всем. Мысль была простая и сокрушительная. Неголоса оглушали, талдычили наперебой, и почти всем было что-то нужно... «Воды!» Лёка зажал уши. Неголоса не отступали, они не могли отступить. Со всех сторон, то сливаясь, то разбиваясь на неголоса и образы. Картинки, запахи...

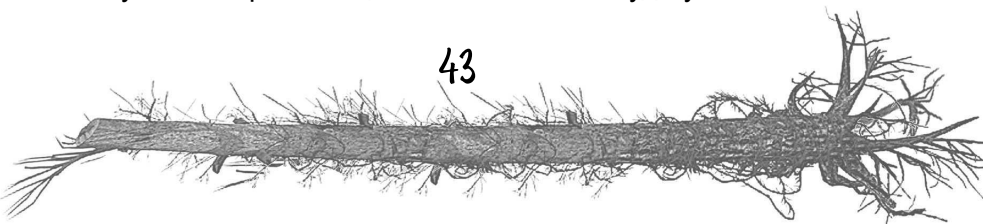
Лёка вскакивает хоть цветок полить, спотыкается обо что-то на полу и падает. Носом задевает металлическую раму кровати, короткая боль ударяет в нос. Неголоса разрывают голову и живот, тянут в разные стороны.

— Тихо все! — Слезы вырываются на волю, из разбитого носа тянутся тонкие вязкие струйки, оседая на штанах больничной пижамы с дурацкими голубыми зайчиками. — Тихо! — Лёка рыдает уже в голос и, кажется, кричит уже не на цветочном: — Я не могу! Я не хочу! Тихо!

Неголоса не отстают. И вроде кто-то что-то ему говорит на человеческом... Точно, говорит. На плечо ложится чья-то рука, Лёка оборачивается и видит перед собой испуганную физиономию Славика.

— Ты что, малахольный? Чего орёшь?! Я тоже не хочу здесь валяться — чего истерить-то?

Лёка с трудом понимает, что ему говорят, потому что неголоса не смолкают. Он вскакивает и бежит поливать цветок, но дурацкий Славик ловко ставит ему подножку, и Лёка растягивается на полу. От ужаса он ревет ещё сильнее — хотя куда уже?!



— Давай не сбегать, а? Я сейчас медсестру позову! — Похоже, он хотел этим напугать.

Ерунда какая. Медсестра? Где-то в затылке, где ещё осталось место для человеческой речи в этой какофонии неголосов, возникает картинка: он в больнице. Да! Точно! Воробьи, холод, простудился. А этот здесь что? Славик? Он теперь всегда будет его преследовать?

— Ты что здесь? — Лицо Славика далеко, он-то стоит на ногах, Лёка его толком не видит... «Воды!», «Больно!», «Каша! Каша!» — гудят в голове неголоса: какая разница вообще, что здесь забыл этот дурацкий Славик, надо цветок полить...

Лёка вскакивает, рвёт на себя дверь и влетает прямо в белый халат.

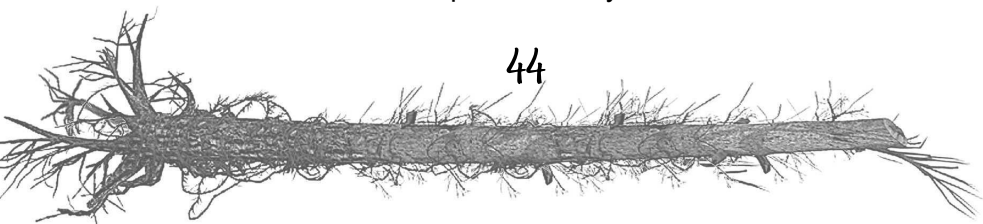
— Это что такое? — медсестра. Злая или не очень? Какая разница?!

— Цветок! — Лёка выкрикивает это, наверное, на всю больницу. — Надо полить цветок! В коридоре, там, где лампы и нарисованная мышка на двери кабинета! У кота ухо порвано! И это...

В затылке, где ещё оставалось место для человеческих мыслей и слов, засвербило: «Они не поймут! Никогда не поймут, они не слышат! И цветок останется, и кот...»

— Ты чего, малахольный? — Славик. — Вы не волнуйтесь, он всегда такой. Ещё летом поднял на уши всю группу, стал орать, что нужно полить все деревья вокруг.

— Молчи! — кажется, Лёка сказал это на цветочном. Славик странно глянул на него, но не



замолчал: — А в этот раз утащил в столовке весь хлеб ночью и пошёл кормить птиц. Потому и заболел... — у него был очень самодовольный голос стукача. Хотелось врезать, но Славик был сильнее.

А медсестра как будто не удивилась и уж точно не рассердилась.

— Надо так надо. Давай так: я пойду полью цветы, а вы полежите. Оба! — она посмотрела на дурацкого Славика. — Скоро доктор придёт, а вы скачете тут, да ещё и ссоритесь. Он рассердится...

Дурацкий Славик, конечно, ныряет под одеяло, убеждая её нудным голосом пакостника:

— Нет-нет, мы не ссоримся.

А Лёка стоит, не зная, что делать, верить или не верить... Слезы ещё льются, и дурацкая красная нитка из носа свисает на больничную пижаму.

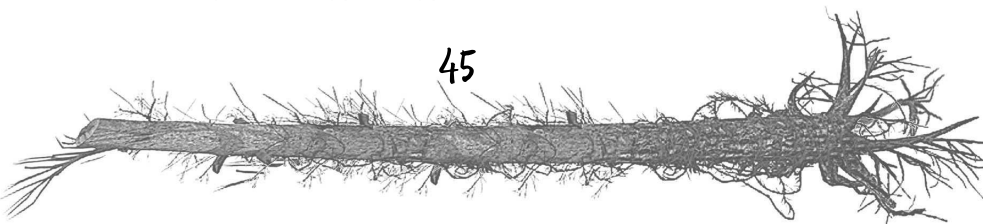
— Ой, а кто тебе нос разбил?!

— Это он упал. — Славик, кажется, испугался, что его сделают виноватым.

Медсестра с подозрением смотрит на Славика и кивает Лёке:

— Ладно, ложись. Давай сперва нос вытрем. — Она уходит, потом возвращается с ватой и шипучей гадостью, которая щиплет, а цветок так и стоит неполитый. И кот...

У Лёки опять наворачиваются слёзы, но медсестра думает, что это из-за разбитого носа, и обещает, что до свадьбы заживёт.



\* \* \*

Цветок она полила, Лёка это заметил. А вечером пришла в палату и спросила, как он узнал про кота.

Пальцы у неё были перемазаны зелёной, а на руке атели свежие царапины, явно оставленные кошкой. Лёка сразу понял: ему поверили! Медсестра обработала коту ухо: нашла, обработала! Улыбка сама собой поползла к ушам: это здорово. Лёка думал, кот притих потому, что смирился, а вот...

— В окно видел, — он старательно изобразил честный взгляд, да ещё и кивнул на окно.

Медсестра подошла к окну, прижала ладони к стеклу, заслоняясь от света:

— Темно уже... Они обычно с другой стороны бегают, поближе к кухне. Ты в коридор выходил, да?

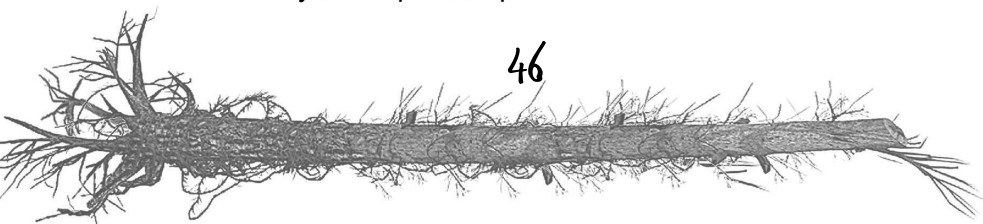
Лёка не выходил, но зачем-то признался. Наверное, ей так будет спокойнее. И ему тоже.

\* \* \*

...Помнит, как не мог есть. В тот день почему-то принесли сразу обед, наверное, завтрак он просто проспал. Прямо перед глазами, напротив его кровати, в желтовато-грязной стене светилось глупое окошечко доставки. Его тогда перекрыл огромный белый халат, и в окно просунулась толстенная рука с тарелкой:

— Обед!

Как будто через дверь войти нельзя.



Лёкины соседи засуетились, расхватывая тарелки, а Лёка лежал таращился, словно всё это не с ним и это кино. Почему-то опять вспомнился тот глупый фильм про браконьеров.

Последняя тарелка с чем-то жутко красным возникла в окошке, и никто за ней не подошёл. Наверное, это для него... Не хотел вставать. Или всё-таки не мог?

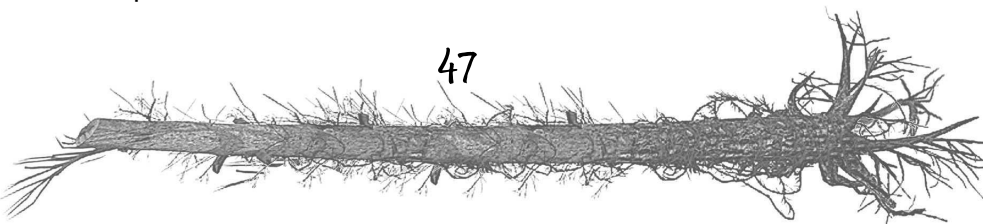
— Кто не ел?! — голос за окошком был властный, высокий.

Кто-то из соседей цапнул тарелку, поставил Лёке на тумбочку, сделав жуткую розоватую лужицу, сунул Лёке ложку, что-то сказал...

Лёка сел на кровати, оглушённый неголосами: тут и там кричали, плакали, звали на помощь. А он здесь...

— Ешь! — рывкнул ему в ухо сосед, и Лёка даже потянулся ложкой к этому кроваво-красному борщу. Может быть, даже и поел бы, так, по привычке: раз говорят «Ешь!» — значит надо. Но там плавал кусок мяса. С волоконцами, розовым от свёклы жиром: чья-то последняя боль, чья-то смерть, сваренная с овощами, в мутно-белой тарелке с трещинкой.

Если бы было чем, Лёку бы, наверное, вырвало. Конечно, он не слышал, не мог слышать кого-то давно убитого, конечно, тому уже не больно, конечно... Он так и сидел, оцепеневший, уставившись в кровавый борщ, в чужую боль, которую ему предлагают есть. Вокруг смеялись, болтали, кричали, а потом вошла эта.



Огромная, как гора, санитарка или повариха, как они там называются — те, кто развозит больничные обеды. Она еле прошла в дверь и рывкнула:

— Кто посуду не сдал?!

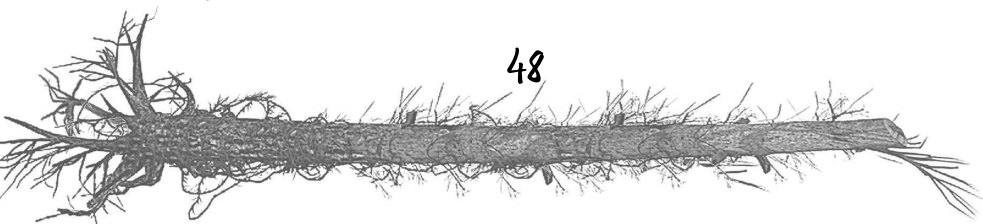
Все притихли. Даже Лёка оторвал взгляд от жуткой тарелки. А эта подошла, встала над ним. Было страшно поднять глаза. Ухо щекотал грязноватый тёткин халат, от которого пахло мясом и силосом. Смертью.

— Это что за новости?! Быстро ешь, за шиворот вылью! — от её вопля, наверное, оглохла вся палата. — Надо есть! Умереть хочешь?! — она вопила так, как будто Лёка и правда умирает. Она вопила — а его голова сама вжималась в плечи.

Лёка думал, не сможет, думал, вырвет, думал, в обморок упадёт. Но рядом с тёткой-горой съел как миленький и первое, и второе (компот ещё раньше стащил Славик, а Лёка и не возражал). Когда он доел последнюю ложку, тётка отобрала посуду, пригрозив:

— Смотри, чтобы в первый и в последний раз! — И ушла. Наконец-то ушла.

В животе и почему-то рукам было тяжело. Лёка плюхнулся на кровать обессиленный, как будто дрова колол. Соседи захихикали, зашептались, кто-то сказал какую-то гадость. Всё равно. В ушах ещё гремел голос жуткой тётки. Надо есть, чтобы не привлекать её внимание. Вообще надо есть, чтобы не привлекать ничьё внимание. Поел бы сразу — так бы она и осталась толстой рукой в окошке доставки. А она — вот...





...Помнит, как после того зеркала не мог уснуть и лежал, уставившись на тёмные разводы на потолке. Ещё летом он лежал так же на тёплой земле, смотрел на облака, а не на это жёлтое даже в темноте безобразие, слушал дерево, и всё было хорошо. А теперь...

— Плохо... — неголос был где-то рядом.

Перед глазами возникло что-то белое, в нос ударил противный и странно знакомый запах. Опять! Лёка устал плакать по своей беззаботной жизни. Было ещё обидно: «Почему я?!» — но тогда он вспоминал, как долго и старательно тренировался сам, как пытался сказать хоть что-то на загадочном цветочном языке. Ведь он сам этого хотел — чего теперь-то? ...А чего тогда другие не хотели? Дело не в тренировках или хотя бы не только в них, Лёка это чувствовал.

— Плохо... Плохо...

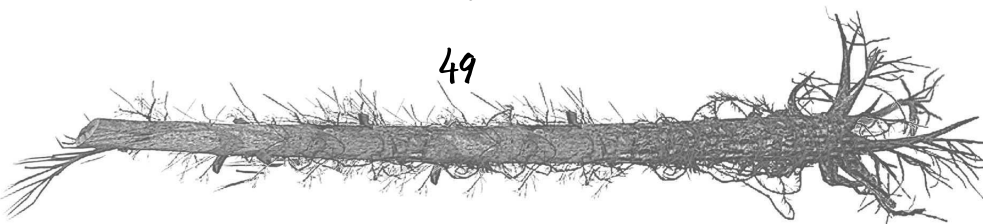
Лёка напрягся, но не увидел ничего нового, кроме белизны, не услышал ничего нового, кроме того запаха...

— Ты в туалете, что ли?

— Плохо...

Лёка откидывает одеяло, и на тело тут же нападает лёгкий холодок. Опускает ноги: пол ледяной, где там тапочки? Тихонько выходит, глядя на ряды белых пододеяльников. Спят, глухие, а он должен слышать это всё...

В коридоре тусклый дежурный свет. Пост медсестры пуст. Наверное, ушла поспать часок в ординаторской, один Лёка тут...



Грязноватая дверь туалета скрипит на весь коридор. Темно. Лёка нашаривает выключатель — и зажмуривается от света. Лампы зажигаются не сразу, а мигая, перемигиваясь, одна за другой, одна за другой, пока не успокоятся. Тогда они будут гудеть, тихо-тихо, но всё равно на нервы действует...

— Плохо...

Никого. Ряд унитазов, ведро и швабра в углу... Наверное, кто-то маленький...

Сердце застучало в ушах и ухнуло куда-то в живот. Лёка уже догадался, кто там такой маленький. В голове закрутился этот жуткий сон, из-за которого Лёка боялся засыпать: «Угадай, что мы здесь едим, маленький больной мальчик!» К горлу подступила тошнота, а в голове стучало: «Угадай...»

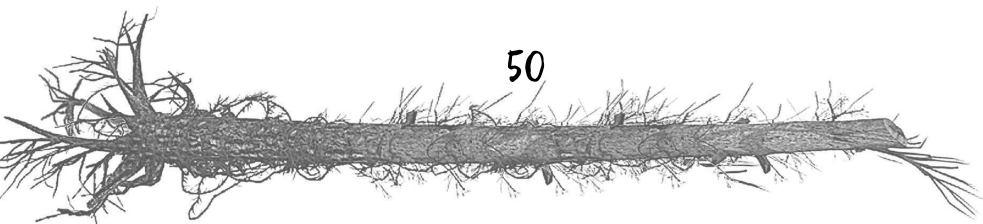
— Крыса!.. Кры-са! — он пытался позвать котов, но на цветочном выходило только это «Крыса!». — Здесь крыса! В туалете крыса!

— Плохо...

Лёка хватает швабру, с грохотом падает на пол жестяное ведро: отлично! Меньше всего ему хочется оставаться с крысой один на один — может, разбудит кого-нибудь это ведро, если коты не откликаются...

— Крыса! Крыса! — он ещё попробовал позвать котов, но выходило опять это глупое слово «Крыса»... Держа швабру перед собой, Лёка заглядывает в каждый угол: — Где ты? Ну где? Специально заманиваешь? Я живой!

— Здесь... Плохо... — Под батареей валяется какая-то мокрая тряпка. Лёка осторожно приседает, чтобы разглядеть.



Маленькая серая тряпка, удивлённо открытая пасть, резцы — жёлтые, длиннющие... Лёка не видел ни крови, ни ран — чего плохо-то? Крыса тяжело дышала. Чёрные глазки-бусинки удивлённо таращились в стену.

— Плохо...

— Тебе... Подарок. — Этот неголос был другим. Он доносился, кажется, с улицы, но там было тепло. Сидя на корточках у батареи, Лёка слышит запах сена и пыльного сухого мешка из-под крупы и будто слышит... не слышит — чувствует кожей кошачье мурлыканье.

— Тебе, — повторил кот. Кажется, ухо у него ещё побаливает.

Лёка так и сидит на корточках, уставившись на крысу. Она лежит на боку, маленькая и совсем не страшная...

— Плохо...

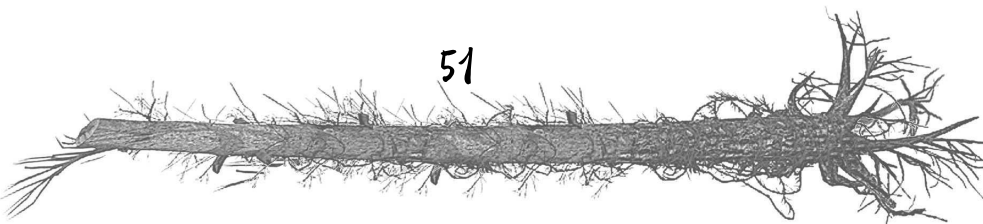
— Подарок.

Лёке хочется вскочить и завопить «Я не ем крыс!» — но он помалкивает. Нельзя обижать кота. Не хочется. У него, у Лёки, не будет других друзей, в смысле друзей-людей, а не цветов и животных. Эта мысль зрела давно, а теперь явилась во всей красе. Даже крысу обижать не стоит.

— Плохо...

— Сейчас будет легче. Потерпи... — Лёка не понял, кого уговаривает: себя или её. Крысе уже не помочь. Ей очень больно.

Лёка переворачивает швабру палкой вперёд, рывком вытаскивает крысу из-под батареи. На кафеле остаётся ржавая дорожка, как если бы



и правда грязной тряпкой протёрли. Руки трясутся. Лёка набрасывает на крысу тряпку, чтобы не видеть, хотя понимает, что бесполезно. Он видит, он слышит, в этом беда. Ей очень больно. Так не должно быть, даже с крысой не должно!

— Сейчас...

Перехватывает палку поудобнее — удар! Дерево шмякнуло по мягкому. Кажется, крыса охнула вслух, но это было уже не важно. Всё. Лёка шумно выдохнул, и самому стало легко. Он знал, что всё.

Голова кружилась, наверное, от удушливых запахов. Лёка зажмурился, осознавая, что сделал, и боялся открыть глаза. Тихо как. Ни шороха, ни неголоса, ночь, все спят. Только он стоит как дурак — в трусах со шваброй посреди туалета. А если кто-то войдёт? Надо убрать. Надо убирать за собой, даже если тебе страшно открыть глаза.

Он провозился почти час, отмывая туалет, потом руки... Тельце боялся трогать. В конце концов сгрёб в совок и смыл в унитаз. Крыса уплыла. Не с первого раза. Но когда уплыла, стало спокойнее.

В ту ночь Лёке уже не снились страшные крысы. Никогда больше не снились.

## Глава V

# ПИРОЖОК

Потом была поездка в город. Не в тот, где больница, а в большой, далёкий, Ленинград или даже Москву. Это было уже весной, после выписки. Лёка с матерью ехали на поезде долго-

долго, даже ночевали там на странных полках, похожих на полати в бане, только кожаных. Лёке досталась верхняя. Он лежал смотрел в окно и наслаждался тишиной. Никто не говорил с ним на цветочном языке, не жаловался и не звал, ни в поезде, ни снаружи. Наверное, поезд ехал слишком быстро. Только на одной из станций он услышал собаку.

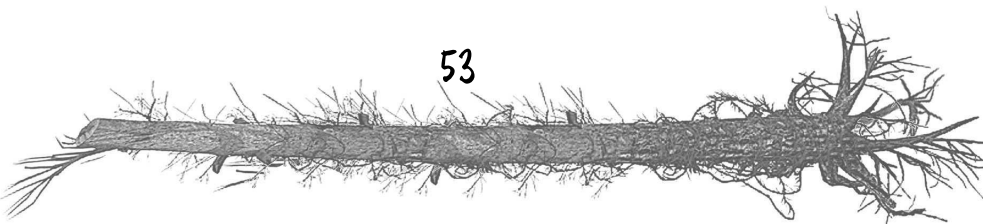
Тут и там сновали торговки со всякой всячиной, пассажиры, вышедшие купить пирожок или газету. Лёка выходить не хотел, мать заставила: «Двадцать минут стоим, належишься ещё. Неужели самому неохота размять ноги?» Охоты не было, но Лёка пошёл, что делать. Слез со своей полки, накинул курточку («Застегни как следует, только что из больницы!»), спустился за матерью на платформу по жутковатым железным ступенькам. Они высокие и узкие, того и гляди нога провалится.

На платформе было солнечно и беспокойно. К Лёкиной матери тут же подскочила бабулька с детской коляской и завопила, как на рынке:

— Пирожки! — хотя у бабки не было в руках ничего, кроме этой коляски. В таких колясках же детей возят — какие ещё пирожки?

Лёка вцепился в мать, а эта с коляской подошла ещё ближе, чуть не наехав колесом Лёке на ногу, и стала уговаривать:

— С чем ты хочешь, смотри: у меня есть с по-видлом, с капустой... — Она откинула тент коляски, и Лёка невольно зажмурился... — Смотри же! — бабка (точно бабка, мать Лёка держал за



обе руки) тронула его за рукав. Лёка распахнул глаза. В коляске на рыжей клеёнке в рядок стояли алюминиевые кастрюли с закрытыми крышками. Бабулька стала открывать всё по очереди, и там действительно были пирожки.

Лёка шумно выдохнул. Нет, он не маленький, он знает, что нет никакой Бабы-яги, которая живёт в лесу и ест детей. Но эта коляска... За спиной торговки мельтешили точно такие же бабульки с детскими колясками, да ещё вопящие «Пирожки!», и мысль о Бабе-яге не хотела уходить.

Матери, кажется, тоже было неудобно. Она что-то промычала, потянула Лёку прочь от бабки...

— С повидлом, — прозвучало на цветочном языке.

Лёка встал под раздражённым взглядом матери и забегал глазами: на платформе было столько всего: торговцы, пассажиры, огромные котлы с плавающими солёными огурцами...

— Кто здесь?

— Иду.

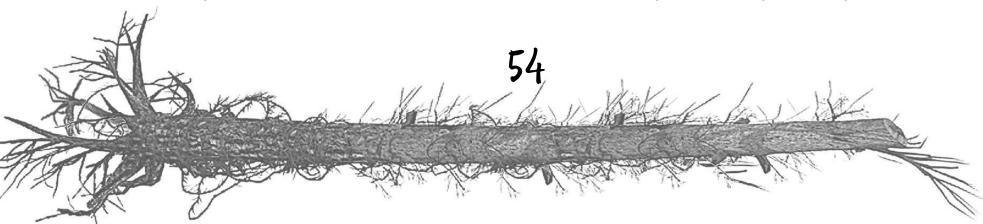
— Ну? — торговка догнала и наклонилась прямо к нему.

Мать, не сводя глаз с грязноватой коляски, опять потянула Лёку восвояси:

— С-спасибо...

— С повидлом! — быстро выпалил Лёка. — Можно, мам?

Мать глянула на него: «Ты правда хочешь это есть?» — но торговка так шустро откинула крышку, подхватила пирожок и завернула в бумажку,



что матери оставалось только молча полезть за кошельком. Лёка оглядывался (ну где оно?), когда ладонь защекотал тёплый мех. От неожиданности он отдёрнул руку.

Собака. Огромная грязно-белая, похожая на поседевшего волка, она сидела у Лёкиной ноги, вопросительно подняв морду:

— С повидлом, пожалуйста.

Лёка думал, этого слова нет на цветочном языке. «Спасибо», «Пожалуйста» — он не слышал этого от животных. Торговка уже протягивала ему пирожок, когда мать заметила пса и, пятась, потянула Лёку к себе:

— Это что такое? Ну-ка кыш!

Собака покладисто сделала несколько шагов в сторону, не сводя глаз с пирожка.

— Она не злая, мам...

— Откуда ты знаешь, знаток?

Собака ждала. Лёка цапнул пирожок, вывернулся у матери, быстро, пока она не сообразила, подскочил к собаке и протянул пирожок ей:

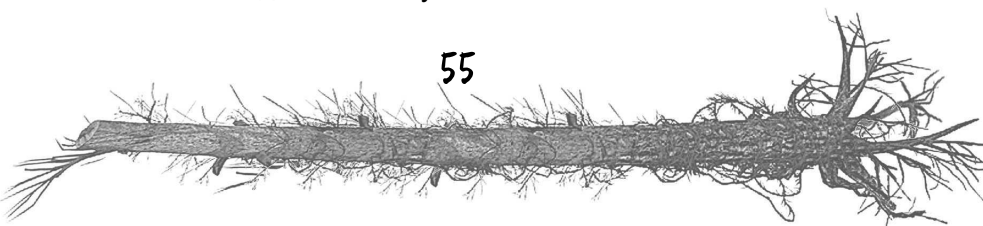
— Скорее!

Мать за спиной уже кричала «Отойди сейчас же!» — но почему-то не подбегала, не оттаскивала Лёку. Собака деликатно, за бумажку, взяла пирожок и драпанула прочь:

— Спасибо. Пока.

Лёка только моргнул, а собаки уже не было видно: только толпа и огурцы-пирожки-газеты. Она знает «Пока» и «Спасибо», и... Что-то было не так, Лёка чувствовал, но понять не мог...

— Погоди! А почему не с мясом?



— Надо... — неголос был уже далеко. — Не мне надо. Пока. Спасибо.

— Ну ты где там? Потеряться хочешь? — мать. Голос не злой. Уже не сердится?

Лёка повернулся: мать и торговка стояли в паре шагов от него. Торговка держала мать под руку и что-то ей шептала. Мать кивала рассеянно и как-то задумчиво. Лёка расслышал только «Пенсия маленькая», и всё. Увидев, что Лёка идёт к ним, торговка резко замолчала, отпустила мать и полезла в свои кастрюли.

— Вот, держи, — она протянула ему второй пирожок. — Ты всё сделал правильно. — Они с матерью странно переглянулись, и та засобиралась на поезд:

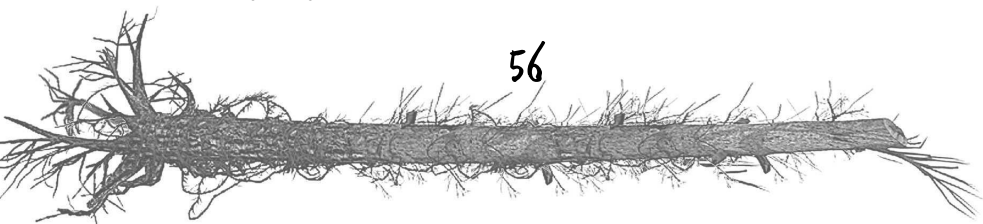
— Идём уже, а то отстанем, что тогда? Спасибо-то скажи.

Лёка буркнул «Спасибо», сжимая в руке несчастный масляный пирожок, есть который не хотелось. Ему было неинтересно, о чём они там болтали, что ему нельзя слышать, он думал о вежливой собаке. Интересно, кому она носит пирожки?

— ...Надо же, а? Вот как бывает... — мать шла за Лёкой по вагону поезда и бормотала что-то невнятное себе под нос. — Лёка понимал, что это не для его ушей, что она проговаривает это самой себе, пытаясь осознать или запомнить. — Вот так бывает...

— Как? — не выдержал Лёка.

Мать будто не слышала. Она плюхнулась на полку и уставилась в окно. За окном ещё было





видно ту торговку. Она не смотрела на них, она смотрела по сторонам, беззвучно выкрикивая своё «Пирожки!».

— Как бывает, мам? Тётя знает эту собаку, да? А кому она носит пирожки?

Мать обернулась, рассеянно глядя сквозь Лёку:

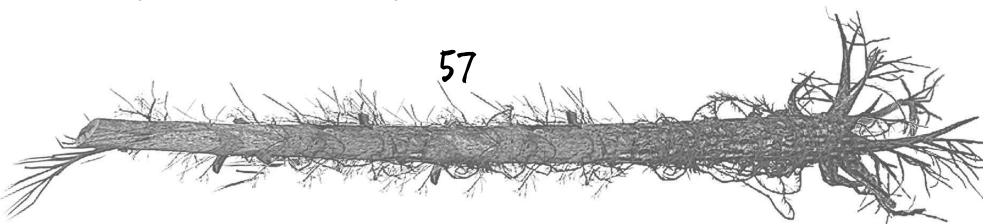
— Догадался? Какой ты уже большой. Ну правильно: другая бы сглотнула сразу вместе с бу-мажкой, а эта, вишь, унесла...

— Кому? Тебе же тётя сказала!

Мать покачала головой и неопределённо шевельнула ладонью. Она так делает, когда речь идёт о каких-то взрослых делах, о которых Лёке знать ещё не положено. Было обидно, что его считают маленьким. И ужасно захотелось выско-чить на платформу, найти ту собаку, расспро-сить... Хотя она, пожалуй, не ответит, Лёка сам не понял почему, просто ему так показалось.

— Собаки верные, Лёнь. Собака не бросит. Все бросят, а собака — нет... Тоже, что ли, соба-ку завести?

Лёка замер. Он никогда не просил собаку: ему не нравилось, что их держат на цепи на улице, даже зимой, когда холодно, даже летом, когда жарко. Но если построить тёплую будку и укрепить забор, можно обойтись без привязи. Собака хорошая. Собака вежливая и всё время радуется, как тот больничный пёс. Сидел на цепи на холо-де, ни на что не жаловался, только радовался: утру, каше, даже котам радовался. Хорошо, когда животные радуются, Лёке легче. И ещё у него будет настоящий друг.



— Правда?!

Мать глянула на Лёку, словно её выдернули из каких-то важных мыслей.

— Что «правда»?

— Правда, что собаку заведём?

Мать смотрела непонимающе, как будто не сама только что говорила о собаке:

— Посмотрим...

— На моё поведение?

— На твоё здоровье.

\* \* \*

...Здоровье оказалось паршивым. Обидно. Из всего огромного, оглушительного города Лёка запомнил только лошадь милиционера и вредного молодого доктора. Их было много, тех докторов, в большом городе, больше, чем собак. Лёка с матерью только и делали, что бегали от одного к другому — как их запоминать? А этого Лёка запомнил. Этот сказал, что у Лёки какая-то там астма и что заводить собаку ему будет нельзя очень долго или даже всю жизнь.

Лёка разревелся тогда на всю больницу, да так, что медсестра пригрозила сдать его милиционеру. В доказательство она подвела его к окну. Там за окном дежурил милиционер на лошади. Лёка даже притих на секунду: он такого не видел.

Лошадь была рыжая, как понимающий человек Галка, и очень красивая как лошадь. На ней был форменный вальтрап со звёздочкой. Лёка жутко робел, но не мог не спросить:

